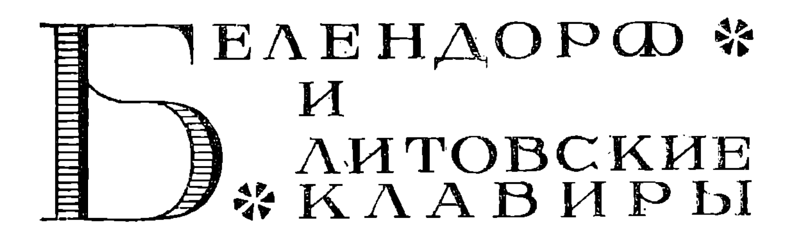
ИОГАННЕС БОБРОВСКИЙ

Белендорф и литовские клавиры

ИОГАННЕС БОБРОВСКИЙ



Перевод с немецкого

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1969

И (нем.)
Б72

СОСТАВЛЕНИЕ И
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Г. РАТГАУЗА

ПРЕДИСЛОВИЕ
Ю. МАРЦИНКЯВИЧЮСА

РЕДАКТОР М. ПОДЛЯШУК

ХУДОЖНИК Б. ПОПОВ

«ГЛЯДИ ЖЕ НА ВСЕ ВМЕСТО МЕНЯ»

Тогда я не знал, что разговариваю с ним в первый и последний раз. Маленькое веймарское кафе тонуло в полумраке, уличных фонарей еще не зажигали, было такое время, когда можно и говорить и молчать. Рука Иоганнеса Бобровского спокойно лежит на обложке романа «Мельница Левина», словно благословляя мир этой книги и населяющих ее людей, словно прощаясь с ними. Лицо уставшее, посеревшее, глаза напряженно всматриваются куда-то внутрь, а может, перед ними южный берег Немана, где протекло детство, образами и впечатлениями которого он жил и в поэзии и в прозе.

Древние названия тех мест, пейзажи Неманского края, живые и подвижные, — взгляд памяти свободно переносится с берега на берег (природу не разделишь государственными границами), и птицы те же самые, и семена одних и тех же деревьев и трав несут ветер и волны реки с одного берега Немана на другой, как и старинные легенды, предания...

Однако не будем спешить, скоро должны показаться люди, все эти немцы, литовцы, поляки, евреи, цыгане — словно семена деревьев и трав, заброшенные ветрами истории в этот край. Вот предстают они перед нами, озаренные неожиданным светом — горением большого таланта, исполненные

какой-то библейской, изначальной многозначительности, эти неразговорчивые чудаки, жизнь которых напоминает обряды или таинственный ритуал, не вполне понятный, но глубоко символичный. Как будто со времен язычества осталось это в них, или — больше того — словно это было в них вечно. А может, и впрямь это острое социальное чувство справедливости, тоска по истине, добру, человечности заложены в людях как инстинкт жизни, как инстинкт самосохранения? Уже пройдена немалая часть пути, и если человек, дожив до сорока, берется за перо, то, наверное, знает он что-то о жизни, об этой «земле теней и рек», об отдаленном и не таком уж далеком прошлом, где грубая сила, произвол, преследование малых наций породили самую бесчеловечную идеологию — фашизм. Исторический опыт и человеческий так переплетаются в таланте Бобровского, так сливаются и дополняют друг друга, что художественная правда его творчества становится самостоятельной этической и эстетической ценностью, тем продуктом духовной деятельности человека, который один только и побеждает всепобеждающее Время.

«Донелайтис», — тихо произносит Бобровский. И я чувствую, что он думает о тайне этого поэта, понимая ее как полное отождествление своих интересов с интересами народа, как активную жизнь согласно социальным и нравственным идеалам своего народа, как духовное родство с миром его изначальных образов. Очевидно, отсюда и берутся у Бобровского те бесконечно интимные, непосредственные отношения со своими персонажами, тот непрерывающийся диалог с ними и с читателем, то доверие к нам, читателям, которое так подкупает, так согревает и так убеждает нас. Ведь и «Времена года» Донелайтиса, этот шедевр литовской классической литературы, восхищает своим открытым участием во всем цикле труда и быта народного, участием в вечном круговороте природы, в смене времен года.

Все это мысли, которые тогда, в нашу первую и последнюю встречу в Веймаре, мы не успели высказать вслух. Он говорил о том, что вот уже совсем кончает роман «Литовские клавиры», где эпоха Донелайтиса перекликается с 1936 годом, с впечатлениями и наблюдениями юности самого Бобровского, что собирается на основе этого романа написать драму. Прошло едва три месяца после этого нашего свидания — и поэта не стало. Роман был завершен, а драма осталась ненаписанной. В моей памяти и в моем сознании Иоганнес Бобровский навсегда остался в Веймаре, в этой колыбели и пантеоне немецкой классической, демократической культуры. После Иоганна Готфрида Гердера он, пожалуй, глубже всех осмыслил драматизм взаимоотношений немецкого народа с его восточными соседями и, как очень сильный человек, не испугался и не бежал чувства исторической ответственности.

Бобровский дебютировал как поэт, и опытный читатель без труда различит в его прозе принципы поэтического конструирования, неожиданную, но такую убедительную, базирующуюся на поэтическом или музыкальном вдохновении смелую трансформацию времени и пространства. Выросши на традициях немецкой пейзажной лирики, поэт обогатил их исторической ретроспективой и силой своего поэтического видения воскресил обросшую легендами и преданиями старину. «Все это словно свеча, которую кто-то, невидимый тебе, проносит мимо», — говорит Бобровский. И впрямь, в трепетном, элегическом мерцании этой свечи оживает «земля теней и рек», возникает живой исторический пейзаж с равнинами и птицами, в лучах заходящего солнца сверкают Неман и Нерис, на холмах Вильнюса собираются звери, испуганные далеким охотничьим рогом, звучат слова умершего языка пруссов, и доносятся звуки мелодичной народной песни...

Магия поэтического слова переносит тебя в то давно минувшее время, в поросший былью веков пейзаж — и у тебя

дух захватывает от мелькнувшего где-то в подсознании предчувствия, что ты уже бывал там когда-то, жил тысячу лет назад или еще раньше, видел все и все забыл...

На улицах Веймара уже зажглись фонари, и Бобровский встает, грузноватый, по-крестьянски долгодлинный. Он едет в Берлин, где его ждут неоконченная рукопись романа «Литовские клавиры», и его книги, и его вещи. Едет, осененный своим поэтическим миром, единоборствуя со словами, пока они, наконец, не покоряются ему и не ложатся в одну фразу, обращенную к нам, его читателям: «Гляди же на все вместо меня».

ЮСТИНАС МАРЦИНКЯВИЧЮС

I

БЕЛЕНДОРФ

Способ сей необычен.
Единственно по скудости моих финансов.
Вот что можно прочесть в митавских «Ведомостях для образованных читателей», 1809 год, номер двадцать четвертый: речь идет о некоем Белендорфе: Казимире Антоне Ульрихе Белендорфе, родом из Митавы, который в этой газете ходатайствует перед балтийскими торговыми домами о выдаче ему заемного письма на сто талеров, каковое будет оплачено в Бремене.

Белендорф. Что известно об этом Белендорфе?

В пасторате Роденпойс говорят: молодой человек, крайне странного нрава, волосы на затылке свисают, как овчина, но таким он был шесть лет назад, а потом его и след простыл. Гувернер Бендиг из Малого Вендена уверяет, будто Белендорф в Берлине издал какой-то «Поэтический альманах» и вообще занимался поэзией — в Иене и, как говорят, также и в Гомбурге, где обретался среди поэтов, которые били там баклуши при дворе какой-то ландграфини или принцессы. Но ведь сам-то Бендиг — санкюлот! Да и эта новость

не самая свежая. Стишки Белендорфа, однако, известны. На восьмидесятилетний юбилей генеральши фон Розенберг и еще сия песенка в вышеназванных «Ведомостях»:

Ухожу я, странник вечный,
В путь без отдыха и сна.

Сочинитель не назван.

— Да нет, это вовсе не Петерсен, — заявляет редактор Гензлер. — Говорю вам, это Белендорф. Ах, да, ходатайство о кредите? Вы полагаете, никто не отзовется? Беренс, Гарткнох, Штрем. Господи, кому это нужно?

Он уверяет, будто тайный советник Вольтман предлагает ему профессуру. Как, в Бремене уже есть университет? А вообще-то он разве в Митаве сейчас, этот Белендорф?

— Чего доброго, он еще предложит издателям свои сочинения, — говорит редактор Гензлер. — Интересно, кому они нужны. Господи боже, тоже мне, сочинения!

«Уголино Герардеска». Трагедия. Издана в Дрездене в 1801 году.

«Фернандо, или святость искусства». Драматическая идиллия, издана в Бремене в 1802 году.

«История Гельветической революции», в четырех книгах. «Вольтманова библиотека истории и политики», выпуски десятый и одиннадцатый.

Возможно, он был на хорошем счету там, в Германии. Но сейчас он здесь, и о нем что-то неслышно.

Так у нас и повелось с некоторых пор: молодые люди, наделенные талантами, вылетают из родного

гнезда и производят фурор там, на чужбине, а после возвращаются домой, ничего не добившись. И зачем только все это образование? Так, если верить старшему проповеднику Гейнце, говорит пасторша Гизе из Роденпойса.

Вот она собственной персоной едет с патроном — бароном фон Кампенгаузеном — в его карете. Едет в Подекай. Они миновали уже имение Гензельгоф, и тут барон говорит:

— Послушайте, дражайшая...

Способ сей необычен.

Единственно по скудости моих финансов.

Дождь. Дождь и дождь. За дождем пустота. Она кажется белой. Волосы, белые волосы безглазого существа, которое поднимает свое белое лицо над кромкой. Над кромкой. Какой кромкой?

Земля когда-то была плоским кругом, потом шаром, теперь снова стала кругом. Куда бы я ни ступил, она проваливается под моими ногами, черная земля податливее, чем белая, она проваливается всюду, куда бы я ни направился, — в Гальтерне, Штраздене, Риттельсдорфе, Вальгалене, в Бирше, — и я протоптал уже большую, широкую долину на этой плоской земле.

И вот начался дождь. Долгий дождь. Дождь, дождь и дождь. Но когда-нибудь утром море хлынет на прибрежный песок или же ночью захлестнет высокие дюны, хлынет и вломится в долину. Все затопит — Гальтерн, Штразден, Риттельсдорф, Вальгален, Бирш.

— Господин гувернер, — кричит цыган Кашмих,

конюх, и подбегает к нему. — Вы простудитесь, господин гувернер.

— Да, да, верно, — отвечает гувернер, но почему-то не встает с земли, подползает к забору, к белому обструганному столбу и ощупывает его руками.

— Все записано, — говорит он и трогает кончиками пальцев плоские борозды, которые провели по дереву древоточцы. — Все записано. Про долину, и как море хлынет в долину, скоро, будущей ночью.

— Господин гувернер, послушайте. Госпожа майорша мне строго наказала...

— Верно, верно.

Так они возвращаются назад, под дождем — коротышка цыган и босой долговязый юноша в вымазанных панталонах, — идут в имение через овечий выгон.

— Пускай идет куда хочет, Кашмих.

Вот что сказала на самом деле госпожа майорша. Нет, говорит Кашмих, так не годится. И Кашмих снова ведет Белендорфа к воротам усадьбы, а потом и в дом, и не с черного хода, а через парадный.

— Вам, Белендорф, доверяю учить моих сыновей. Вы человек образованный, приоденьтесь.

В иванов день он появился в здешних местах и задержался на время, как, говорят, везде задерживался, жил то в пасторате, то в имении майорши Клингбейль, то тут, то там, оборванный, без паспорта, но именно тот самый всем известный Белендорф, со своими путаными речами о море, которое хлынет и все затопит, об унгеровской газете, издаваемой в Пруссии, о тайном советнике Вольтмане и каких-то господах Гербар-

те и Фихте, о моряке по фамилии Синклер *, какомто, судя по его словам, моряке или морском офицере.

Он уже несколько недель здесь, в имении и пасторате Гальтери, небезызвестный Белендорф, но теперь, раз он прилично одет, стало быть, он человек достойного происхождения, человек уважаемый: господин гувернер и, стало быть, настоящий господин. Господин гувернер Белендорф.

— Кашмих! — кричит госпожа майорша.

— Да, да, знаю, — отвечает лакей Кашмих.

— А что делает епископ, господин гувернер? Вот начинается революция, она уже началась, а он сидит на своем стуле в церкви, красиво одетый.

— Henri, — говорит Белендорф, — в Швейцарии нет епископов.

— Ну тогда пробст или городской пастор.

Henri — самый младший из трех молодых господ фон Клингбейль, он задает вопросы. Его шестнадцатилетний брат ничего не спрашивает. Семнадцатилетний тоже.

— В Риге, — говорит Henri.

В Риге были епископы, это точно. Один побагровел от пьянства, другой рехнулся и стал ловить мышей в церкви, прочие же надели кольчуги и погнали

---

* Исаак фон Синклер (1775—1815) — немецкий республиканец, поэт и дипломат; Иоганн Гербарт (1776—1841) — выдающийся педагог и философ; Иоганн Готлиб Фихте (1762—1814) — знаменитый немецкий философ, приверженец Французской революции. Все они были друзьями Белендорфа. — *Здесь и далее прим. перев.*

в Латгалии крестьян вниз до Литвы или вверх, через реку Нарву. Не будем о них говорить.

— В Лозанне, — говорит Белендорф, — в девяносто седьмом году революция была у самого порога, она вышла на улицы в кантонах Ваадт, Унтерваллис и в городе Женеве. Мы стояли над озером, озеро большое, но видимость была отличная, казалось, до другого берега — рукой подать. Мы окликали людей на том берегу; они, наверно, слышали нас, в Эвиане, в Тононе, во всем Шабле; и нам казалось, весь мир вышел нам навстречу, распахнув объятья.

— Господин гувернер, наша матушка, госпожа баронесса, интересуется, каков наш avancement* во французском языке.

Это опять два старших брата.

— Лагарп, — говорит Белендорф, — призвал французов. Но еще до того, как они явились, высшие сословия, городские магистраты и знатные семейства успели собрать верных им людей и послали их туда, где уже вспыхнул пожар, — в кантон Ваадт, и в крепости, и в сельские общины.

— И революции пришел конец, — говорят молодые господа Клингбейль.

— Но в девяносто восьмом году явились французы с новою конституцией Петера Окса**.

— А вы сами бежали в Гессен, господин учитель?

— Я написал обо всем этом, — говорит Белендорф.

Он становится возле окна. Часы уже пробили пол-

---

* Успех, продвижение *(франц.)*.

** Фредерик Сезар Лагарп (1754—1838), Петер Окс (1752—1821) — швейцарские политические деятели, защитники умеренных свобод.

день. Какая ранняя осень в этом году, ведь еще только август.

— Завтра продолжим беседу. По-французски.

Белендорф стоит у окна. Взгляд скользит по лугам. За окном с каждым днем все пустыннее. Рожь убрали. С горохового поля взлетают птицы, застывают в воздухе, как будто бы там, вдали, кто-то поставил заборы, очень высокие, но они нипочем для птиц, которые ненадолго садятся на них и потом летят еще выше. Один Белендорф и видит эти заборы, высокие обструганные столбы, но они нипочем для моря, когда оно нагрянет высотою с дом, нагромоздит стену на стену и перекатится через заборы, обрушится с высоты, заполнит долину, бурля, похоронит Гальтерн и Штразден, Риттельсдорф, Вальгален, Бирш, мгновенной короною пены оденет колокольню и другой короной, поменьше, — крепко просмоленные башмаки здешнего пастора Рихерта, которые волна будет бросать из стороны в сторону.

Все записано. В книге истории, на воротах сараев. Есть знаки в лесу, на поваленных стволах, и на земле, перед дождем.

— Господин гувернер, — говорит Кашмих.

— Да, ужинать. Да.

Этой ночью Белендорф пускается в путь. Увидит ли кто-нибудь, как он бежит через пустошь? Над ним мчатся облака, закрывают луну, снова открывают ее; лунный свет рыщет в бурьяне, как стая гончих псов, они то кидаются врассыпную, то бросаются на добычу, они то тут, то там, вот уже свет луны вырвался далеко вперед, словно учуяв след.

Белендорф убегает от света, загребая руками, как веслами. Говорит что-то невнятное, как немой. На курляндских дорогах этой ночью нет никого, кто же его услышит? Туман пахнет остывшей золой.

В учительском фрачке, в рубашке с вышитым воротом, рукава слишком коротки.

Речушка Берзе, ясная и спокойная, течет по камням, песчаным отмелям, течет мимо рощицы и мимо развалин замка на левом берегу. На правом берегу стоит Доблен, дома и простая улица. И вот уже светлый день, и Белендорф стоит на этой простой улице в башмаках, в гувернерском фраке.

Прохожие направляют его в пасторат. И он спит целый день. Вечером его берут с собой, он аккуратно причесан, у юстиции советника Мейерса — вечеринка.

— Господин Белендорф, — говорит Мейерс, тоже писатель, который с недавних пор трудится над историей герцогства. Когда-то, говорят, он в честь Екатерины написал оду, которую приняли худо, потому что он назвал императрицу Аспазией и кое-кто решил, что сам он— вот глупец! — напрашивается на роль Перикла.

Мейерс, седовласый Мейерс с наглухо застегнутым крахмальным воротом, говорит:

— Не имел еще чести познакомиться, очень жаль, но тем приятнее, много о вас слышал.

И после второй рюмочки сразу же спрашивает:

— Мы прогнали Наполеона, мы отменили в наших провинциях крепостное право и сохранили рыцарские привилегии; теперь у нас даже есть свой университет. Позвольте спросить: молодые люди с пламенной душою — мы и сами были такими, — чем они заняты,

чему посвящают свой пламень? На наших глазах везде наведен порядок, притом же Священный союз...

— Да, везде порядок, — отвечает Белендорф, — везде умиротворение, не так ли?

— Белендорф, — говорит пастор Беер, — ведь вы — поэт.

— Именно это я и хотел сказать, — подтверждает Мейерс. — Пламя юности, стало быть, отдано поэзии. Какой же расцвет искусств нам предстоит!

Белендорф наливает себе шампанского, оно пенится и льется через край.

— Мы слыхали, милый Белендорф, и, разумеется, читали ваши сочинения. В Германии вы были окружены целым роем поэтов.

Молчишь, Белендорф, ты огорчен?

Целым роем поэтов. Вспомни: Нейфер, Шмидт, Вильман, Цвилинг, Зеккендорф, Магенау, некий Гельдерлин, Синклер.

Ты познакомился со всеми сразу? Как это было? Магистр Гельдерлин жил у стекольщика Вагнера, в Гомбурге замечательный воздух, господин фон Синклер был всегда при дворе, Цвилинг добывал армейское обмундирование.

— Не правда ли, Белендорф? — говорит пастор Беер.

— Это было совсем не так, — говорит Белендорф медленно, и вот сейчас он произнесет тот самый вопрос, который Белендорф твердит везде и всюду, ответ на который Белендорф читает на пнях, на досках заборов, на дверях сарая и на земле после дождя, вопрос, который знаком и знатным прибалтийским семействам, и господину фон Кампенгаузену, и пасторше Гизе, с которым Белендорф выходит сейчас из

дверей зала, как он выходил из флигелей помещичьих усадеб и из стеклянных дверей пасторатов. Каким должен быть мир, устроенный согласно требованиям нравственной личности?

Нравственной личности, ах ты, боже мой! Да ведь это каждый из нас, так ответит почти каждый из нас, и пусть он проваливает, куда хочет, этот Белендорф! Нравственная личность!

А мир?

Земная юдоль, ниспосланная нам за грехи наши? Где, кстати сказать, наведен порядок.

Как он должен быть устроен?

Обратите внимание: должен быть!

— У нас у всех когда-то были идеи, — замечает пастор Беер. — Но говорят: перемелется — мука будет.

А прочие гости, что они говорят? Когда он рассказывает о революции франков и о своей, Гельветической *? О Женевском озере и о невообразимо высоких горах? Что говорят прочие гости?

Сидят, прикрыв лицо руками, вздыхают сквозь пальцы: «Ужасно». С закрытыми глазами.

А как только Белендорф выходит, они говорят:

— Добрый человек наш господин гувернер, ничего не скажешь.

А другие, что они говорят, когда Белендорф исчезает за дверью зала?

Мейерс говорит:

— Налоговая реформа, как вижу, состоит в том,

---

* Имеется в виду революция в Швейцарии (1798), провозгласившая Гельветическую республику (1798—1803).

что все указы и распоряжения собраны воедино: пятый том имперских законов, податной устав. Титулярный советник Мурхграф в Митаве издает все законы в немецком переводе.

— Стало быть, все, как и было, — говорит податной инспектор Бергман, — размер податей, вносимых в зависимости от числа ревизских душ, определяют общинные суды, статья двести пятая.

— Однако, согласно постановлению от двадцать пятого августа (параграфы двадцать третий, сто восемьдесят восьмой, сто восемьдесят девятый), статья двенадцатая существенно дополнена. Отныне при неуплате податей, кроме обычных мер взыскания, ясно предусмотрена военная экзекуция.

— Но только не у нас, — говорит Бергман, который еще не обзавелся новым сборником этих распоряжений да и не желает вовсе его иметь. — Арендаторы платят — и все тут!

— Без сомненья. Но параграфы сто восемьдесят восьмой и сто восемьдесят девятый недвусмысленно подтверждают, что и сами владельцы имений обязаны вносить платежи и сборы в пользу российской короны, ежели их арендаторы им задолжали и суд обязал их работать на землевладельца безвозмездно.

— Да что там, — говорит Бергман. — Во-первых, они уплатят, дело известное. А во-вторых, в любом указе о налогах есть свои пробелы и пустые поля — белые, как зимой в России: вы сели в сани, мчитесь под звон бубенцов через замерзшие озера, через болота, через заснеженные деревни, и кто ведает куда, и кто ведает откуда... Ничего, заплатят. Долг платежом красен.

— Славная поговорка у господина окружного

инспектора, да-да, и мне уже довелось ее слышать, — говорит Мейерс. — И, разумеется, Курляндия и Лифляндия платят по два рубля пятьдесят восемь копеек с ревизской души, исключая известные списки, касающиеся ученых, и так далее. Кстати, эти списки Мурхграф будет просматривать весьма тщательно.

Везде наведен порядок, и везде умиротворение. Кто же наводит порядок? И какой, собственно говоря? А как же нравственная личность? И как должно устроить мир? Именно должно?

Долг платежом красен.

И на время беглец исчезает совсем. Его видят на песчаном берегу лифляндской реки Аа и на сыром левом, где река вбирает в себя множество притоков; он переходит через Западную Двину там, где зеленый Огер впадает в мутную реку; быстро, словно прыжками, идет он вверх по реке. Зеленая вода как стекло. По обоим берегам лиственные леса подступают к самой полоске прибрежного камыша, и дно реки, красное, каменистое, уже местами выступает из воды и теснит прибрежный песок ближе к лесу и блестит дочиста вымытое и красное, как кирпичная стена, и осень красная в этих лесах, листья летят над рекой.

«Белендорф, Белендорф!» — кричат птицы и отворачиваются.

Белендорф идет по каменистому берегу. Он останавливается и смотрит птицам вслед. И снова видит письмена, знаки под ногами, врезанные в камень. По этому камню ходили люди, остались следы босых ног. Вот о чем ему надо рассказать в Абсенау и Лауберне, где он выходит из леса и бредет по равнине к

северу от реки и живет в деревянных избах, но недолго.

И весной его встречает барон Фиркс из городка Кандау. Белендорф стоит на крепостном валу на коленях и расчищает от земли каменную плиту, но плита пуста. Тогда он врезает знаки, которые ему попадались то тут, то там, врезает ногтем в нетвердый камень и следует за Фирксом по извилистым улочкам.

Лето до срока возвещает о себе грозами. Буря вырвала с корнем несколько старых деревьев на городском валу. И ночи становятся ясными, луна бела и, кажется, замерла в небе. Крысы выходят из подворотен и амбаров, медленно тянутся через рынок и бесконечным войском, заполняя всю ширину улицы, движутся к городской окраине мимо деревянных домишек, мимо крепостного рва, к самому ручью.

Мимо Белендорфа, который ходит по высокому крепостному валу, перешагивает через обвалившиеся своды, и глухой гул под каменными плитами эхом отзывается на его поступь.

Из развалин угловой башни доносится дыхание гнили и смешивается с душным запахом крушины.

Больше ни слова. Над молчанием теперь каждый день с заливных лугов поднимается утро, белый и серый свет, и резкие крики чибисов словно режут его на части.

— Сумасшедший Белендорф сейчас в Кандау. По слухам. И это не все. Он приедет сюда, — говорит Фиркс своей баронессе. — Осенью мы пригласим его на охоту, позабавимся вволю, когда он будет удирать от заячьего крика.

Ну, осени еще надо дождаться. По дороге в Цабельн много «негерманских» деревень, как их имену-

ют. Здесь видели, как Белендорф шел за упряжкой волов. И снова знаки. На шлеях, на топорище. Следы ладоней.

Здесь, чуть подальше Вальгалена, его встречает Кашмих, который отправился в Штразден продавать лошадей, и заговаривает с ним, но Белендорф отмахивается — так же, как нынче вечером отмахнется госпожа майорша Клингбейль, когда Кашмих расскажет ей о встрече.

Тогда лакей Кашмих идет в кухню и говорит дворовым девкам:

— Эти немцы все одинаковы.

Дождь. Это дождь. Долгий дождь. Земля проваливается у меня под ногами. Я протаптываю большую долину, черная земля податливее, чем белая. И вот туда хлынет море, все затопит: Гальтерн, Штразден, Риттельсдорф, Вальгален, Бирш.

И все записано.

С горохового поля взлетают птицы, высоко над заборами, которые видит один Белендорф, над белыми и свежеобструганными столбами, но морю это нипочем, когда оно нахлынет, перекатится через заборы и заполнит сначала долину, которую я протоптал, и потом всю сушу, которая подымется снова над водой, прежде чем навсегда опуститься. Ничего не останется живого. Я могу уйти.

Вижу: счастлив каждый встречный.
Но друзей не замечаю.
Я не знаю,
Где отрада мне дана.

Так сказано дальше в упомянутых уже стихах из митавских «Ведомостей», мы еще помним их.

Глубокомысленный Мариенфельд гуляет за грядою дюн, фигура, известная здесь и детям и взрослым, но забытая своим церковным начальством в Риге, а ему это все равно или почти все равно, что он забыт здесь, у Рижской бухты, в деревне за песчаными дюнами, за Ангернским озером, — Мариенфельд оглядывает самого себя и удивляется бессилию времени: вот этот сюртук, он носит его десять лет, а он все такой же.

Приехал сюда, появился в замке и скрылся в «Ангельской горнице», как тут именуют пасторский дом, из коего он, правда, выходит, но только после обеда, погулять за дюнами, — и непременно в этом сюртуке: знакомая всем фигура, Мариенфельд, проповедник из Маркграфена.

И никуда он не ездил, ни в Санкт-Петербург, ни в Пруссию, всегда оставался здесь. Сирень да изгороди, ничего больше не видать, ни заборов, ни знаков на них.

И вдруг все это неведомое вихрем налетает на него как ветер со стороны Сворбе или Абро, который мчится от южного мыса острова Эзель по волнам бухты, но, наверное, даже не оттуда, а откуда-то издали, и только минует Сворбе и Абро, он мчится, наверно, с открытого моря.

Как спокойно плывут мимо Маркграфена к Дюнамюнде корабли с неподвижными парусами из молочного стекла. Подумать только, что плыли они из-за моря и что иные из них, проплывавшие раньше мимо этих мест, уже не вернутся, потому что их поглотило

море, разломало, разбило вдребезги бурями и большими волнами, выше прибрежного леса.

У Мариенфельда дома висит подаренная ему картина. На ней мы видим кораблекрушение, небо в пламени и синем дыму.

— Non mergimur undis *, — говорит проповедник Мариенфельд, стоя перед ней и оглядывая сперва свой фрак десятилетней давности, а затем озирая носы своих туфель, выступающие далеко вперед, и выходит в стеклянную дверь.

Теперь же все это неведомое налетело вихрем на него, словно ветер из Сворбе или Абро.

— Что тут надо этому человеку? — говорит Мариенфельд. — Каждый день бунтарские речи. Пусть себе уезжает в свою Гельвецию или Иену.

Или в Бремен.

— Уезжайте, господин фон Белендорф, — сам себе говорит Мариенфельд и ступает своими обычными шажками по своей обычной тропе за дюнами. И пугается сам своих слов: он въяве видит перед собой Белендорфа, ближе, чем в пяти шагах, руки напряженно скрещены, будто он сдерживает себя, и слегка наклонился вперед.

— Гуляете, господин проповедник?

— Господин домашний учитель, — говорит Мариенфельд, избегая снисходительного наименования «гувернер», — господин домашний учитель также изволит любоваться на мир божий?

— Да нет, — говорит Белендорф, — я шел за вами, я желал бы узнать...

---

* В волнах не потонем *(латин.)*.

— Господин домашний учитель, вам не следует ни за кем ходить по пятам, и вообще нельзя быть таким непоседой. Господин барон недоволен.

— Позвольте, вы о чем? — спрашивает Белендорф, и Марпенфельд отвечает и не видит: Белендорфа бьет дрожь от каждой его фразы, от каждого слова, от звука голоса.

— Вы являетесь в наши дома как чужак, с понятиями чужого мира. Вы тревожите наш покой словами, которые никому не понятны, особенно простым людям. Крестьяне отказываются платить подати, недовольство докатилось до врат храма.

Тут Марпенфельд, который говорил все это, потупив глаза, делает шаг назад, в испуге простирает руки к Белендорфу, а затем воздевает десницу, как для крестного знамения, словно перед ним сам диавол.

— Господин фон Белендорф.

— Пес, — говорит Белендорф, стиснув зубы. — Пес — вот ты кто! Ты внушаешь людям: живите крохами в ожиданье небесной награды, пот ваш соленый вам воздастся сторицей.

— Господин фон Белендорф.

— Пес, — говорит Белендорф. — Погоди, я еще приду в твою церковь, я сяду у тебя под самым носом и прочту на твоих церковных скамьях все знаки. Долг платежом красен.

Марпенфельд замер на месте.

Белендорф отворачивается, идет обратно к дюне.

Легкой поступью движется вечер с его светлыми красками. Из воды на песок выходит тишина. С высокой дюны открывается вид на бухту и дальше к югу, на продолговатое озеро, темный цвет которого еще сильнее оттеняют светлые волны моря, на озеро

между полями, песком и зелеными пятнами леса, вытянувшееся до самого Ангерна с острым шпилем его колокольни и ярко озаренной крышей перед нею.

Этому Белендорфу, которого Мариенфельд еще видит на дюне 24 апреля 1825 года, пока тот с похолодевшими руками не пустился в обратный путь, этому господину домашнему учителю три дня спустя Мариенфельд говорит надгробное слово.

И старается зря.

Из-за внезапной болезни госпожи баронессы господин барон фон Эллерн не явился. Да и зачем ему быть тут? И все же мог бы прийти. Дети, обе девочки, вчера отправлены к тетушке фон Гавель в Доротеенгоф.

Кто же тогда здесь?

Старушка фрейлейн фон Цандиков. Значит, все же есть кто-то из барской семьи.

И сельский учитель Шиман.

И сельский народ.

Проповедник Мариенфельд оглядывает свою побелевшую от старости ризу и сам себя не узнает. Белендорф?

Надо бы что-то сказать о родителях Белендорфа и его семье, перечислить заслуги покойного, обрисовать его жизненный путь. Что же известно о Белендорфе?

Он застрелился. После того как прожил здесь почти целый год. Домашний учитель Белендорф, седой, худой и долговязый, на пятидесятом году жизни. Что это за смерть?

Трудно об этом говорить. Мариенфельд даже не знает, с чего начать, но и все прочие не знают. Тут уж слово Мариенфельду. Он может продекламировать несколько строк по записочке, которую ему вручила старушка фрейлейн. Найдена записка в комнате Белендорфа на подоконнике.

Я бросил любимый венок.
Ах, жар погубил цвет мой милый,
Умчал его грозный поток!

Он мог бы сказать, что новопреставленный муж сохранил в испытаниях земной юдоли свою высокую душу, о чем свидетельствуют сочинения усопшего, кои еще послужат во славу отечества и в будущие времена.

Но разве он скажет такое?

Он что-то твердит о бурях отчаяния и о той сокровенной пристани, которую нам сулит вера. У него дома есть картина, подарок, мы-то знаем, и Мариенфельд привык перед ней говорить: «Non mergimur undis».

Но что-то он слишком разговорился, этот Мариенфельд. Дольше всех говорит ветер. Летит по могилам, каждый день, по всему кладбищу, к югу от деревни Маркграфен. Сеет повсюду легкий белый песок.

Сельский учитель Шиман бросает на гроб три пригоршни земли. Наверно, это не нужно.

И вскоре это забудется.

Что же тогда можно будет узнать о Белендорфе?

Можно прочесть ставшее знаменитым письмо того самого магистра Гельдерлина, адресованное Белендор-

фу в 1802 году: «...как говорят о героях... меня сразил Аполлон» *.

Некто составляет сборник балтийских поэтов и ставит Белендорфа рядом с прославленным и несчастным Ленцем. Это и мы могли бы сделать.

И редактор Гензлер уже говорит, чуя новые времена:

— Белендорф, как же, отлично помню. Белендорфф. Обычно пишут одно «ф», но можно и два... Разбитый душою и телом, сей несчастливец исторг из своей лиры гётевские звуки.

Но как сурово небо в тот день! Суровее, чем воды бухты, темнее Ангерниского озера, за которым уже вспыхнул грозовой свет. Но небо еще теснит его, не давая прорваться к морю.

В воздухе слышится скрежет.

Поставят ли ему надгробный камень?

И кто займется этим?

Вопросы эти не ясны.

Как же будут о нем говорить в Лифляндии?

Что скажет сельский учитель Шиман? Что — фрейлейн фон Цандиков? Видите, они идут пешком с кладбища.

А что сделаем мы? Воздвигнем монумент, колонну? Высечем на камне его слова: нравственная личность, или же: как устроен мир, или же: как должен быть устроен. И добавим к этому, что он везде искал свои знаки?

— Добрый человек наш господин гувернер, ничего не скажешь.

---

* Слова из письма Гельдерлина к Белендорфу (1801). Белендорф получил некоторую известность как друг последних лет жизни Гельдерлина.

Так говорят люди, обступившие могилу. И все поднимают глаза.

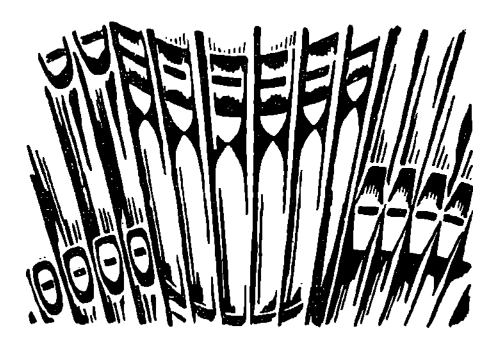
В куполе темного неба блеснул белый свет, вот он медлит в самой вышине — и вдруг стремительно рушится вниз: он падает ниже и ниже и разливается над темными облаками сурового неба, по которому уже мчится вихрь и мчит за собой этот резкий скрежет от самой бухты, все дальше и дальше, над Гальтерном, Штразденом, Риттельсдорфом, Вальгаленом, Биршем, над долиной, потом еще ниже, над цветами дрока и вдруг круто поворачивает назад и снова к бухте, и белая дорога бежит далеко по воде.

Значит, надо спешить домой в деревню.

Добрый человек. Что же еще?

Это, быть может, не так уж мало, и, может быть, вовсе не надо ничего больше знать о Белендорфе.

БУКСТЕХУДЕ



В оный час, что мне неведом,
Хор свою хвалу начнет,
Я за праведными следом
Возлечу до верхних нот.

Кровля башни чересчур высокая, шпиль кончается тонким, как нитка, острием. Взгляд не достает до его вершины, он соскальзывает с блестящей жести вниз, на черепичную крышу, бежит сначала по водостоку, даже летит по воздуху и задерживается на деревянном кровельном узоре, точно таком же, как и в церкви святого Олая. Там, в Эльсиноре, есть замок прямо на берегу Зунда, и вода там светится от солнца.

Но ты стоишь здесь, за первым рядом труб внутри органа. И вынимаешь трубу из виндлады. Ты чувствуешь олово всей кожей. Тебе даже кажется, будто олово прозрачно, как кожа, и это не так уж странно: эту оловянную трубу можно носить глубоко внутри, она будет петь твоим голосом, ты скорее ощутишь, чем услышишь слабый гул и шорох металла, и в этом нет ничего удивительного.

Вот ты держишь ее в руке, труба на верхнем конце

расширяется в виде воронки, ты поднимаешь ее к свету.

Своим смутным поблескиванием она как бы притягивает свет. И в ответ светится сама.

Как будто труба органа плыла над Зундом. Летела над Эльсинором под ровным небом навстречу плоской равнине, все ниже и ниже, и, быть может, снова над водой, теперь уже над заливом, и потом над устьем Траве, и должна была еще раз взмыть высоко в воздух перед грядой холмов возле Штюльпе.

Она застывает над холмами в нимбе света. И теперь, плывя в низину, в медленном полете она начинает звучать и за рекою Вакениц замирает в воздухе, все еще звуча. Ветер уносит с собой обрывок этой музыки вверх по реке Вакениц, к Ратцебургским озерам.

— Господин органист! — кричит Пагендарм снизу, из среднего нефа.

— Не кричи, долговязый, нет больше громкоголосых: Даниэль Эрих уехал в Гюстров, Лейдинг — в Брауншвейг, собор пуст до самых сводов, никто не заполнит его больше литою тяжестью своих речей.

Слова эти сказаны поверх органного регистра. Труба снова вставлена на место, в верхней клавиатуре органа.

— Ты, Якоб, не сможешь заполнить своим голосом весь собор, твои легкие слишком слабы. — И это сказано тихо. Но, выходя из корпуса органа под сводчатой дверью, мастер добавляет: — Зато как зорки твои глаза, совсем арабские, под тяжелым лбом и жестким вихром волос.

И, спускаясь вниз по лестнице, поет на ноте «до»: «Гряди...» И дальше на ноте «до», перекрывая партию баса: «Гряди». И теперь перевести дыхание и пропеть

дальше: «С Ливана». И на полтона ниже, на ноте «си», и снова на ноте «до»: «Невесто».

— Господин органист! — кричит Пагендарм.

И, как всегда, мастер сходит с Ливана, вниз по каменистому склону, овцы толпятся у его колен; и когда остается лишь сделать последний шаг, он поет: «С Ливана невесто».

— В чем дело, cantore *? — И это сказано тихо.

Пагендарм в такт последним шагам:

— Брунс из Шлезвига, о коем вас известили. Он здесь.

— У своего дяди?

— В писании сказано, что надо сперва показаться первосвященникам, так он мне объяснил.

— Стало быть, нам?

Спросивший ждет ответа, но Пагендарм лишь отступает в сторону: тогда он направляется прямо к боковому порталу.

Вот и Брунс, ему шестнадцать лет. Николаус Брунс, обученный игре на альте и на скрипке, волосы чуть длиннее, чем надо. Стоит под низким порталом, не входит внутрь, все стоит. Не поклонился.

— Да, сейчас. — Надо медленно поднять голову. — Николаус Брунс, слушаю тебя.

— Господин органист соблаговолит.

— Да?

— Мой дядя, городской музыкант, писал в Шлезвиг отцу, что господин органист согласился.

— Он согласился. — Проходит мимо него, вниз по ступеням. — Иди за мной.

Стало быть, Брунс. Он тоже сошел с Ливана. И все

---

* Певчий *(итал.)*.

эти молодые люди тоже оттуда? Да нет. Лейдинг не таков. И Даниэль Эрих тоже не таков, он хочет взойти на гору Ливанскую и, может быть, уже взошел: там, в своем Гюстрове.

Свет мчится навстречу прямо по улице. Ближе к нему, к этому свету; он точно таков же, как тот, шведский свет, который гнался за мною, когда я бежал сюда к югу, в туманный край. Бежал за реку Эйдер, за моря, за излучины Траве, за холмы Штюльпе.

— Там у вас тоже гуляет туман?

Он говорит: «Да», этот Брунс. Если бы он был родом из Эльсинора, он тоже ответил бы: «Да». И был бы прав. Но он вовсе не из Эльсинора. Оттуда не приезжает никто. Расскажи, что там у вас в Шлезвиге. Как это бывает, когда в разрыве тумана вдруг виден свет над рекою Шлей. Не правда ли, целый столп света? Над туманом. И вода сначала черна.

— Господин органист соблаговолит...

Да, он соблаговолит. Ты хочешь играть на органе? Будет дозволено. Завтра, мой юный господин Брунс. Якоб отведет тебя сейчас к господину городскому музыканту. Скажи ему: завтра. С самого утра.

Теперь прямо к дому органиста. Вверх по крытой лестнице. Пробарабанить привет в дверь Анны Маргареты. Горница наверху, в пристройке. Бумага. И длинным гусиным пером написать через весь лист: «Господь, не пущу тебе, аще не благословиши мене, a' 7. Basso con 2 Violini: Tenore con tre Viole de gambe. Di D. B. X.» *.

---

* Кантата для баса, двух скрипок, тенора и трех виол да гамба. Сочинение Д. Б. X. *(итал.)*.

А переписчики обычно заменяют так: «A Dieterico Buxtehude» *. Наверное, так почетнее?

И должен ли я ныне сказать — моя жизнь прошла, жизнь моя больше не в счет?

Согласен: она прошла, жизнь моя больше не в счет.

Тебе завещаю ее: она прошла.

Тебе завещаю ее, она больше не в счет.

Так сказано мною.

И я беру слова мои обратно.

Мало ли что бывает сказано.

Он будет играть у меня первую скрипку, этот Брунс. У него совсем детский бас, слегка похожий на хрюканье. Или партию альта, когда Пагендарм будет петь свое протяжное «благословиши». Аще не благословиши мене. Якоб Пагендарм будет петь слова Иакова. Посмотрим, как скрипка этого Брунса будет вести свою мелодию сначала выше, потом ниже тенора, медленно нисходя с Ливана.

И беседуют тенор и бас: Что ти имя есть? И скрипка неизменно вплетает свой голос или плывет над ними, и, наконец, Якоб ответит: Иаков. И бас говорит: Не прозовется имя твое Иаков. А Иаков: Не пущу тебе! И вот уже альты поют благословение, возвышаясь над человеческими голосами. За которыми следуют скрипки. Теперь окончена беседа, начинается всеобщая хвала, alleluja tutti.

Свет подступает прямо к окну, просовывает в комнату руки, кладет их на подоконник. И отрывает их снова, отворачивается, уходит. Поднимается выше.

Далеко позади, над бухтой — бледное свеченье. Я знаю, это не свет, а отсвет. Как эхо: там, на просто-

* Сочинение Дитриха Букстехуде *(итал.)*.

ре, над бухтой. Как в Эльсиноре, оно угасает. Вначале слышны флейты и серебристые терции, затем глухие звуки гедакта и крумгорна, затем лишь звонкий и чистый гемсгорн *, и под самый конец: ветер над Зундом.

О, я слышу его, все громче и громче. Но я не могу подойти, подступить к берегу. Увидеть его моими глазами; они не такие усталые, какими притворились. Они следят за движеньем планет. Они различают их мерный и радостный ход. Который я записываю на бумаге.

Один из вас, сошедших с Ливана, поедет туда. Ради меня. Увидит башню святого Олая, излучину берега с бастионами, четыре башни перед замком. Войдет в дверь и увидит: могучий орган, стрельчатый орган под обширным куполом свода, легкий орган над позолоченными увешанными образами эмпорами, орган, поющий приглушенными голосами. Увидит свет: он движется сюда с Каттегата, широкой волной проходит мимо Гегенеса, поднимается выше, уже плывет над водами Зунда.

Брунс, ты поедешь туда.

Но сперва обо всем меня расспроси. Я все расскажу тебе.

Два года, ведь это немало. Ты все услышишь. Любая из труб органа будет покорна тебе, как женское тело, ты будешь владеть ею, как женским телом.

— Господин органист.

Стало быть, Пагендарм здесь. Сдал Брунса на руки дяде.

— Что же, до завтра, Брунс. Когда ты уедешь,

---

* Регистры органа.

Брунс, оставь мне Пагендарма. Он знает, что мне отвечать.

И ты не вернешься. Я не успею тебя спросить ни о чем. Отчего бы это? «Ми» было начальною нотой. Мя грешного, помилуй, господи.

И все, что я увидал и чего уже не увижу: гляди же на все вместо меня.

Еще прежде, чем я подымусь много выше верхних нот.

ПАМЯТИ ПИННАУ

Перед домом Канта деревьев нет. Разве улица так узка? Почему же невозможно пройти мимо голого двухэтажного строения, не задевши рукавом или плечом его стены? Не унеся на себе следов светлой штукатурки? Когда-нибудь, это ясно уже и сейчас, кирпичи кладки, пока что не видные, выглянут наружу — яркие красные пятна, которым будет недоставать только соседства с зеленым, ведь перед домом Канта деревьев нет. За домом с островерхой крышей есть садик. Это маловато. Зато птичник с куриным насестом лепится прямо к дому. Стало быть, здесь можно услышать эту удивительную перебранку птичьих голосов, то ли они спорят между собой, то ли нет, кто их знает, — однако же все равно их слышно, а когда к тому же и медник громыхает в своей мастерской где-то на Шлоссберге, и колокол на городской башне хрипло отбивает время — неизвестно, верное или неверное, — недостает только торопливого постукиванья палок с острыми жестяными наконечниками и серебряными набалдашниками, палок черных или темно-коричневых — и

мы разом услышим такую симфонию звуков, что легко представить себе английский город Лондон где-то на далекой Темзе или бурный пожар в Стокгольме, который с учтивым поклоном остановился перед домом Сведенборга *.

Но вот уже нетерпеливые палки приближаются и стучат все громче. Беда с этими палками! Особенно для того, кто хочет слушать симфонию звуков.

— Понравились, видно, мои курочки! — говорит старушка и возвращается в кухню. Там стоит Кант в коричневом фрачишке и сыплет перец из желтой коробочки на чудесные яства.

Тем временем палки прибыли к самой входной двери. Каждая из них коротко и сухо щелкает по каменной плитке перед порогом, словно поставлена точка после стремительного марша — от Юнкерского сада, от Каменной дамбы, от Лицентграбена. Точность превыше всего, господа.

Итак, палки под мышку — и прямо в дом! Могучий Шефнер громко басит, обращаясь к стенам: «Благословение дому сему!» — и Лампе, слуга Канта, говорит: «Прошу покорнейше, господин кригсрат», — и снимает с него плащ. И профессор Шульц проталкивается поближе, вешает слуге на плечи свое пальто и напяливает ему на голову свою шляпу; и Лампе говорит испуганно: «Да, да, господин королевский проповедник, да, да».

«Надо было ему первому помочь раздеться», — приходит в голову Лампе, в то время как элегантный

---

* Эммануил Сведенборг (1688—1772) — знаменитый шведский богослов, философ, астроном и минералог; был окружен ореолом чудотворца. (Он будто бы точно предсказал пожар в Стокгольме и день своей смерти.)

Мотерби тычет ему нетерпеливо палкой в крестец — легонько, конечно: «Мы же приглашены, приятель!» — и кидает свое пальто прямо на перила, где, кстати сказать, уже пристроил свою одежду господин королевский книготорговец Кантер. Так все они толпятся в передней: и Боровский, и Васянский — первый долговязый и худой, второй толстый и низенький, Шефнер весьма обширен в талии, Шульц всего массивнее в нижней части; фигуры их живо напоминают ромбы, кегли или гири. Всех грациознее одетый с иголочки Мотерби.

Теперь поднимаемся вверх по лестнице. Там уже стоит Кантер в открытых дверях; окинул взором стол — все готово — и, успокоившись, смотрит вниз, на лестничную площадку, замечает в дверях кухни развевающиеся полы Гаманова фрака *, потом они исчезают, и дверь захлопнулась, и Лампе, пробравшись мимо господ по лестнице, говорит, стоя наверху, сдержанный и строгий:

— Господин профессор изволит быть в кухне, но сейчас явится.

А внизу снова отворяется дверь, и старушка кухарка кричит оттуда:

— Да, сейчас явится, а ты, господин Лампе, ступай-ка сюда!

Итак, Лампе уходит. Господа одновременно вынимают красивые хронометры: сейчас как раз бьет двенадцать на городской башне; и так как сразу стало тихо, то слышны не только удары колокола, но и звон и хрипенье самого механизма боя.

---

* Любимый Бобровским с гимназических лет выдающийся немецкий философ Иоганн Георг Гаман (1730—1788).

В кухне внизу, где немного чадит, стоят Кант и Гаман.

— Так вы говорите, Пиннау?

— Знаю их, хорошие люди, — замечает кухарка.

— Нет, мы о сыне, — говорит Кант.

— Статный, чернявый, — говорит старушка.

— Бухгалтер Пиннау, — говорит Гаман, — умер. Сегодня утром я слышу выстрел в соседней комнате, бегу туда, Пиннау лежит на полу, он выстрелил себе в лицо и сразу же умер.

— А в чем дело, — говорит Кант, — он ведь служил на Лицентштрассе?

— Он мыслил странно... — Гаман вновь надевает шляпу, которую держал попеременно то в одной, то в другой руке, чередуя с плащом и палкой. — Он сочинял стихи, он желал невозможного, — говорит Гаман.

А Кант возражает ему быстро и еле слышно:

— Ведь и вы тоже?

Наверху господа разгуливают по светлому паркету, подходят к окну, отходят, прохаживаются вокруг стола. Где же сам хозяин? И вот снова появляется Лампе, уже с суповою миской, а за ним, будто он вспорхнул по лестнице, маленький и легкий Кант; и с ним рядом — в чрезмерно длинном фраке, плащ через руку, шляпа нахлобучена на голову, похожий на ворона с растрепанными крыльями, свалившегося в воду, да притом еще с черной дорожною палкой, — распорядитель портовых складов Гаман.

— Моих лекций он не слушал, — говорит Кант. — Учился ли он вообще?

С этими словами он входит в комнату, чуточку удивленный, так как слышит за собой ответ Гамана:

— Да. У меня.

Шульц многозначительно смотрит на Боровского, пастора Нейростергенского прихода, и оба они качают головами, что означает: «Гаман? Ведь Гаман не лиценциат и не магистр». А это качанье головами вполне соответствует кружению в танце кегель, ромбов, гирь и прочих фигур — как там они называются? — которое началось опять.

Кантер широко распростер руки и отвел их назад, как бы обнимая воздух и заключая в объятия весь мир или хотя бы весь этот город, все три города, которые недавно слились в один вместе со знаменитыми семью холмами словно для того, чтобы преподнести его в дар Великому человеку, Мудрецу, да что я говорю: воплощенной мировой мудрости. И три-четыре шажка навстречу. А Шефнер! Короткий, пламенный поклон: вот так влюбленный поэт срывает с себя в порыве восторга увенчавшие его главу лавры почета... Вот как это выглядит! А Шульц, как ученейший mathematicus, всех точнее знает, что представляет собою его знаменитый коллега: звезду науки! Разумеется, первой величины. А прочие описывают возле Канта круги и эллипсы: опять тот же прелестный танец; и соборный колокол пробил двенадцать раз, и городские трубачи на башне изо всех сил дуют в трубы, исполняя свой веселый полуденный хорал, который раздается не только над крышами, но и в домах богатых и бедных, как будто в каждом доме эти трубачи дуют на слишком горячий суп.

Кант — сама приветливость, его фигурка вертится и кланяется налево и направо, и вот гости могут занять свои места за столом. Толстозадый Шульц садится со вздохом. Первый вопрос обращен к Гаману. Кант говорит:

— Так на чем мы остановились?

— Мы говорили о Пиннау, — отвечает Гаман и садится напротив Канта.

— Господа, — опять говорит Кант, — бухгалтер Пиннау с Лицентштрассе сегодня утром застрелился. Tres cavalièrement *, как он и жил. Господин Гаман сообщит вам подробности.

Васянский испуганно:

— Пиннау?

И вот теперь все знают: Пиннау — славный юноша, из небогатой семьи, очень прилежный, он первым начал зимнее купанье в Прегеле, и еще сделал немало хорошего, и стихи сочинял — но, скажите на милость, что из него могло бы выйти, какое тут поле деятельности? Может быть, Кантер (этого, правда, никто не говорит вслух, ведь Кантер сидит здесь же) мог бы принять в нем участие, или Корф, или Гиппель: всегда ведь можно что-нибудь сделать, притом у него было хорошее место; и вот Пиннау выстрелил себе в лицо из пистолета; он лежал на полу в пустой канцелярии, и черное пороховое облако над ним никак не хотело улечься.

— Отчего стреляется такой человек, как Пиннау? — спрашивает Шефнер, и для Мотерби это тоже непонятно, он не знает, что отвечать.

Да и кто знает? Жилось ему неплохо, он был бухгалтером, хотел жениться, ему были обещаны шесть яблонь из штокмаровского сада.

— Служебных неприятностей не было, не так ли, господин Гаман?

---

* Весьма дерзко *(франц.)*.

Живая беседа. Она приводит в движение ромбы, кегли, гири и даже пирамиду в лице Шульца. Хотя все и остаются на своих местах. Жаль, что мы с вами не глухие: приятнее было бы, никого не слушая, просто полюбоваться на весь этот спектакль.

Кант повернул свое гладкое личико к невоспитанному Гаману, который опять кладет левую ногу в грязном башмаке на пустое соседнее кресло, и кричит ему через стол:

— Вы все это знали?

И Гаман отвечает:

— Да.

И Шульц, наконец, может пробубнить долгожданную молитву.

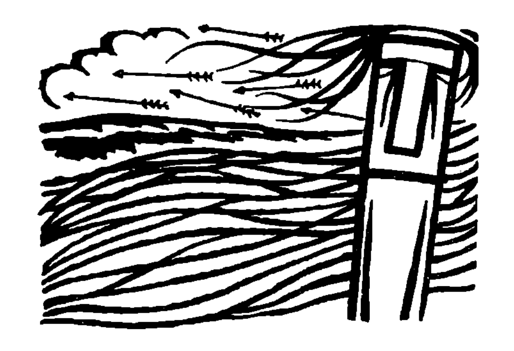
Итак, Кант говорит:

— Господа, приступим к обеду. Господин королевский проповедник, прошу вас!

И Шульц:

— Собираешь нас каждодневно вкушать дары твои, собери нас, господь, близ престола твоего.

БЛАЖЕНСТВО ЯЗЫЧНИКОВ



Лицо, словно из железа, над коротким плащом из серой линялой звериной шкуры. Глубоко запавшие глаза больше не замечают света. И седые волосы, нависшие над самым лбом, не притягивают света, а ветер, который порой налетает с реки прыжками, и все бормочет, все повторяет имя, одно и то же.

Здесь, у стремнины, берег высылает вперед, навстречу течению, песчаные отмели, покуда живая вода не отступает, не уходит в сторону, не кидается к другому берегу. Лишь пена кипит на плоских языках суши, и глухо, как глиняные черепки, шумит вода, лишь птицы кружат над водоворотами, словно желая умилостивить течения, и неколебимо молчанье над этим пустынным местом.

Пришелец раздвигает куст, вынимает из-под него кусок кованого серебра — изображение оленя с ветвистыми рогами, которые сходятся в семикратном сплетении, плоский рельеф, оленя в летящем беге, — берет его и подносит к груди, поднимает высоко над собою и, не опуская, обходит вокруг куста. Он смот-

рит на свет, который загорается на металле и не хочет погаснуть, он стирает его рукой и прячет серебро в своей меховой одежде.

Ветер все еще твердит то же имя. Слышен быстрый, шершавый звук: это шумит река. Над нею пустое небо, как водная гладь без глубины, синева, пролитая кем-то, неизвестно где, которая растеклась и побледнела, но все еще ярко и равномерно светится до самой линии горизонта. А там хлопьями встают туманы, словно густой снег идет над скифскими степями или чад поднимается от сторожевых костров над рубежами Руси.

Пришелец стоит на опустевшей земле. Только вчера был праздник вознесения. Земля истоптана, словно расплющена, видны отпечатки лошадиных копыт среди бесчисленных следов босых ног, и забытая утварь, ивовые корзины, лопнувший лук с обрезанной тетивою.

Сюда, в эти пустынные места, где высокий берег изрезан крутыми оврагами, где он спускается вниз, к равнине, пришел народ киевский по зову мужей князя Владимира, пришел вслед за длинноволосыми священниками с бородами до колен, перед которыми несли греческие образа; народ киевский спустился с горы, сначала мужи, потом старцы и жены, созванные в равнину прибрежную, где поворачивает к морю Днепр, сильный муж, господин над реками, и где он расширяется так, что стрела, пущенная из лука, уж не долетает до другого берега.

И когда народ заполнил равнину от реки до холмов, поросших низким кустарником, за которыми начинаются леса на западе, когда собрались священнослужители у последнего холма, перед городом, и когда пришли сюда отшельники и странствующие монахи,

которым ведомы пути апостола Андрея *, пришли со своими палками и дорожными посохами, иные с отдаленных гор, а иные переплыли реку на плоту, и, видно по всему, издалека, тогда выехал сам князь Владимир, новый Константин, как они нарекли его, и снял шлем и поставил его перед собою на загривок лошади. И в окружении множества всадников в красных плащах слева и справа он приподнялся на стременах, над красным сафьяном седла.

И вот, словно рев могучего стада, хлынуло с холма торжественное песнопенье, которое летит без крыл, бороздит моря, как меч-рыба, и заполнило оно, наконец, всю равнину, словно широкое дыханье Днепра. Воссияла истина, сокрытая в тени, и явила себя всему миру. Но тут, перекрывая пенье, взлетел в небо вопль, рваный и острый, грянул, как девятый вал, и, подхваченный женскими голосами, поднялся над волнами песнопенья и прыжками, как олень, умчался прочь. И от самой пропасти они поволокли его, безрукого, дикого, чье имя твердит ветер, того, что и без рук хищно хватает свою жертву; и они потащили его, привязав к конскому хвосту, — деревянного идола с ликом из серебра, который теперь бороздил песок.

Разве сама земля не кричала имени этого идола? Ибо ветер умолк. И красная влага, которую тянут под землею корни трав, проступила на песке.

И тут народ отхлынул назад до самого холма и к югу в сторону моря, где широко раскинулся Понт, укрытый своими туманами и посылающий свое дыхание на сушу. Так открылась дорога для дикого идола под круглыми сводами песнопений.

---

* Легендарный креститель Руси.

Но говорят, что ст поднятой руки князя крики разлетелись, как брызги воды, и лишь те крики, что достигли Днепра или открытой равнины, полетели дальше, опережая тяжелое песнопенье, и там, где песнопенье опустилось в траву, повисло на жестких стеблях, обессилело или потонуло в воде, — там крики вместе с притихшими ветрами помчались дальше и дальше...

Но песнопенье встало вокруг холма, как воинский стан с палисадами и земляными валами, сплошным заслоном, и над ним качались кресты на длинных шестах, а выше разверзлось небо, пламенея белыми огнями, широким кругом потеснив синеву, и казалось, круг этот притягивает к себе землю, охваченную пламенем, и грозит поглотить ее.

И вдруг волна песен отхлынула, и один лишь тонкий голос пронесся над полем, над склоненными головами, всего лишь несколько слов с самой вершины холма, где стоял митрополит с воздетыми вверх руками, окруженный своими священниками: «Сын Давидов, поспеши во спасение тех, яже создал еси».

И они потащили его вниз под протяжные молитвенные возгласы — слева и справа по шестнадцать человек, взвалив на плечи железные шесты, потащили Перуна на песчаную отмель, кинули в Днепр деревянную колоду; за ними же в поле роем стрел поднялся вой и дождем камней обрушился на втянутые в плечи головы несших идола. Но пение все еще плавно катилось, и протяжное «Смилуйся» поплыло от холма по всему полю и дальше на запад до самых холмов, чтобы настигнуть и заглушить все крики в толпе, и снова, описавши дугу, отступило до самой реки.

И люди с железными баграми бежали по берегу за уплывающим, пробирались через кусты, шли и бе-

жали, и отталкивали его баграми на самую стремнину, если он слишком близко подплывал к берегу. И выше, по крутому берегу бежал народ, сначала поодаль от тех, с баграми, но не отставая от них, прямо сюда, к стремнине за последней отмелью, где берега почти смыкаются и еще раз вздымаются вверх, чтобы потом круто упасть к морской равнине.

Здесь, на порогах, серебряный лик показался снова; трижды, четырежды поднялся Перун над бурлящей водой, поворачиваясь на волне, обратив лицо к заходящему солнцу, а потом к северу, покуда не утонул. Мужи Владимира еще стояли, поднявши багры. Так он исчез навсегда в днепровских порогах, намного ниже Киева, города на высокой горе.

К башням которого отныне по всем дорогам шествовало молитвословие, долгая хвалебная песнь, и небо раскрылось, как некогда над Гефсиманским садом, широким кругом, чтобы принять Вседержителя, который восстал в сиянии, и два ангела были рядом с ним: «Кто сей, пришедый от Едома, червлены ризы его от Восора?» И монахи отвечали: «Аз глаголю правду и суд спасения». И отшельники и юродивые кричали: «Узрите очертания шатров небесных!» И народ, стоявший у стремнины в молчании или в страхе упавший на землю, отвернулся от идола, и рассеялся по полю, и, наконец-то, последовал за поющими, и нестройной толпой двинулся мимо холма, где все еще стоял митрополит под иконами и крестами, окруженный священниками, и мимо князя, который круто повернул коня и медленно ехал впереди своей свиты в город. Который снова принял всех своих, а пришельцев услал по путям апостола Андрея, в туманы скифские и за сторожевые огни земли русской.

Пришелец остановился. Он чувствует холодок серебра на груди под мехом шкуры. Он видит небо, белый круг над собою. Он шагает к холму по вытоптанной траве, по изрытому следами песку, на котором почти уже стерлось красное.

Отросток холма выбегает прямо на равнину, за ним берег еще круче и внезапно обрывается в реку. Гладь воды бела и блестит, на прибрежные кусты набегают буруны, рушатся, захлестывают друг друга.

Окликните его, пришельца в коротком плаще, спросите его, что же он видит.

Текучее небо, и дым, и чей-то смутный облик встает над зеленым свечением берегов, встает над рекой мрачный облик—деревянный идол — и летит прочь яростной птицей без крыл, прямо в распахнутое небо, чернотой пронзая свет, который плывет навстречу ему, идолу, кого волочили издалека, топили в быстрине, похоронили в бурунах, и чей серебряный лик все еще сияет в водовороте, когда свет падает прямо на него, — вот-вот расплавится серебро и заблестит обнажившееся дерево, омытое Днепром, сильным мужем. Идол высился над полями, блестел от жира жертв и был черен от крови. Он поднимается еще раз, он навсегда исчезает в ярком свете, и его принимают небеса.

Оттуда ему уже не вернуться...

Ветер забудет его имя, будет блуждать по дорогам, отыщет пути апостола Андрея, осыплет вздохами косой апостольский крест.

Вам не видать его больше, ветры, он улетел без крыл. Огни, что покинул он, догорают, их след зарастет травой.

Пришелец покинул холм. Он идет дальше по конскому следу. Он чувствует серебро на своей груди,

оленя, который не может кричать, и прижимает рукой мех как раз над оленем. Он не отводит глаз от линии горизонта. Где летят туманы, где за болотами начинаются леса, белые от берез, белые от седого, хрустящего мха.

Туда ведет путь, который он избрал, вверх по реке, минуя прибрежные болота. До тех самых мест, где река сдавлена узкими берегами, плоскими и каменистыми. Там он находит брод, по которому шел апостол.

Где кончаются тропы, где заблудиться нельзя, потому что пути больше нет.

Но разве не прошла молва в 1030 году, что Перун выплыл невредимый из бурунов, что он был выброшен ниже по реке на песчаную отмель, которая еще долгие десятилетия именовалась Перуновыми песками?

Но тогда сразились Святополк и Святослав, и Борис и Глеб дождались своих убийц, и тогда блаженство язычников вновь прокатилось по Руси из конца в конец с огнем и мечом, и иконы монахов исчезли из монастырей, и поднялся от этих икон жалобный плач богородицы над землею и небом, и сердце ее пылало пламенем над людьми и зверьми, над птицами и над бесами.

В ВОЛШЕБНОМ ФОНАРЕ: ГАЛИАНИ

Перед нами четкая строчка домов, идущая слева направо; она переходит в гладкую стену, в которую, однако же, втиснулся еще один дом, значительно ниже прежних. Чуть позади него виднеется другое, более высокое здание, длинное, с плоской кровлей и кустами под окнами, а дальше справа стена завершается угловым сооружением с башней, в верхнем этаже которой вывешены два флага, на самой кровле стоит красивая фигура. Вся эта группа — семь или восемь домов и два палаццо с большими окнами, и стена, и угловое сооруженье — поднимается прямо над широкою, как река, но спокойной на вид водною гладью; от нее возле угловой башни отходит или, наоборот, впадает в нее узкий канал. Чуть дальше в глубине над этим каналом изгибается стройной дугою мостик с перилами. Две гондолы плывут к этому мосту. У стены и перед одним из палаццо тоже стоят на причале гондолы. Да и по эту сторону широкой водной глади, слева, на переднем плане пристань с красивым, мощеным бульваром — там тоже теснятся гондолы, большей

частью крытые, иные даже под парусами. Три или четыре гондольера возятся со своими лодками, а по бульвару гуляют или стоят господа, занятые просто разговорами. По небу с какою-то удивительной равномерностью распределены облака; они чуть тяжелее, чуть внушительнее, чем на театральных декорациях, само же небо синего и блекло-розового цвета, вода зеленая; господа на бульваре одеты в красные фраки, дамы в широких светлых юбках разных цветов. Все это выглядит чуть-чуть простодушно, и под картиною написано: «Parte del canale grande verso il ponte dei Ebrei, di Venezia» *.

Слева господин в желтом — как мы его раньше не заметили? — ставит трость на каменную плиту у своих ног, как раз под зеленою маркизой. Должно быть, это и есть аббат Галиани. Простим же ему нескромный цвет его одежды: ведь и его переписка с госпожой д'Эпиней отнюдь не выдержана в темных, строгих тонах, да и к деньгам, говорят, он не питает презрения. А эти двое на переднем плане, наверно, братья Феретти: Бальдасаре, певец, и Бенедетто, торговец чулками. О дамах мы умолчим. Нарисуем же в воздухе над водой птицу с золотым опереньем, вот здесь, между угловой башней с флагами и стройными дворцами, почти посредине картины, там, где блекло-розовое небо переходит в темную синеву.

На бульваре, возле самого канала, беседуют господа Феретти. Под маркизою слева аббат, желтый, как канарейка, приподнял свою трость и запел соло какую-то итальянскую песенку, но так, словно переводит ее

* Часть Большого канала напротив Моста евреев в Венеции *(итал.)*.

на французский. Стесняться ему нечего, потому что господин, который обернулся к нему, певец Бальдасаре, почти глух, все это знают. Вот почему брат его так кричит, правда, только тогда, когда не говорит ничего секретного. Однако Бальдасаре и в этих случаях должен убедиться, что их никто не подслушивает. Все, что поважнее, Бенедетто пишет певцу в записочках, которые Бальдасаре принимает широким, красивым жестом и держит перед собою на расстоянии вытянутой руки, а затем быстро подносит прямо к глазам.

Галиани перестал петь. Он делает шаг вперед, останавливается, затем проворно подбегает к трем дамам; еще на бегу он начинает говорить учтивости — интересно, что же он им сказал?

Морщины создает природа, о гладкой коже печется людская суетность. Вот что он говорит дамам, не слишком-то он любезен с этими дамами в желтых нарядах. Не так давно они прочли его суждения о женщинах, коих он считает по природе слабыми и болезненными, и желали бы не то что поспорить с ним, но хотя бы поговорить о недостатках женского воспитания, а не об одной лишь природной слабости. К примеру, дикарки. Об их силе рассказывают чудеса, что скажет о них господин аббат?

Что скажет?

— Допускаю, что одна дикарка могла бы поколотить четырех наших мушкетеров. Но ведь ее супруг задаст трепку четырнадцати — стало быть, пропорция та же.

— Monsieur l'Abbé *, — говорит дама, стоящая в

* Господин аббат *(франц.)*.

середине, и кидает чудесный быстрый взор куда-то выше головы маленького аббата, — вы ведь не сомневаетесь, что если бы женщины затеяли войну, они сражались бы храбро?

Галиани не мешкает с ответом:

— О, конечно, нисколько не сомневаюсь. — Он подымает руки и продолжает: — Только как бы вы стали спать на биваке?

Братья Феретти обсудили свои дела и поспешили к группе, одетой в желтое. Бенедетто по крайней мере очень внимательно следит за беседой. Болезненные, слабые?

— Взгляните на эти слабые создания, — восклицает Бенедетто. — Танцуют каждую ночь, могут уморить десять танцоров, весь карнавал не смыкают глаз — и хоть бы насморк подхватили!

— Вот именно, вот именно, — радуется Галиани.

— Как так? — говорят дамы.

Галиани обежал вокруг всей группы, теперь он поворачивается лицом к дамам, обеими руками поднимает свою тросточку к самому подбородку и как бы нехотя говорит:

— Ну да, возбужденье нервов, волненье, жар, — наш аббат в ударе, и мы его отлично слышим, — но прогоните прочь музыкантов, задуйте свечи, и что вы увидите? Эти неутомимые плясуньи не могут сделать и тридцати шагов до дому, подайте им карету!

Прелестно сказано и прелестно сыграно: все словно видят, как дама в полном изнеможении падает в карету. Бальдасаре разводит руками, откидывает голову назад, издает смешок на высокой ноте «соль», поразительно медленно нарастающий и так же отзвучавший. Наша золотая птица в вышине, там, где блекло-

розовое небо переходит в темную синеву, испуганно рванулась, прервав свой спокойный полет, и навсегда улетела из картины.

Ее уже нет. Кончилось прежнее время. Его невозможно вернуть.

II

ЛИТОВСКОЕ ПРЕДАНИЕ

Это Шкуодас. Городок с каменными домами возле самого леса. Речка Бартува вместе с прибрежными лугами входит в город. А вот озеро, куда она несет свои светлые воды. Там стоит деревянный мост, как раз в устье реки, ведь улица бежит вдоль озерного берега, прямо за камышами.

Говорят, здесь когда-то стоял нищий, старик, звали его Моркус, стоял каждый вечер и кидал в воду те гроши, которые выклянчил за день. Пусть озеро выйдет из берегов. Пусть соберется с силами и выйдет из берегов, это ведь нелегко, и для этого стоит его ублажить, пусть хлынет на улицы, прямо к большому дому, где живет царский генерал, тихо подкатится к лестнице и потом шумным валом обрушится на дом, перехлестнув через заборы. Генерал сидит себе на террасе, краснолицый черт с черными усами, и ничего-то не замечает, но теперь ему не уйти, повсюду вода, ему некуда деться от шума и пены, он утонет со всем своим домом, этот железный генерал.

Так каждый вечер. Пока ты не умер, Моркус.

Пришел на кладбище и лег между двумя могилами. Вода не хлынула. Грошиков не хватило.

Железный генерал как-то незаметно для всех умер в своей постели, господь бог наградил его оспой. Потом он долго ржавел, где-то глубоко под землей, под покосившейся оградой и медной плитой, а вскоре после этого пришел конец и царю.

В том самом году в Шкуодасе началась стрельба; и кому было чего бояться, тот испугался и удрал. Тогда начали рубить лес до самых гор и ставить новые дома, до самой водяной мельницы. Вот каков Шкуодас на речке Бартуве. Здесь вам еще расскажут о Моркусе и грошах, которые он клянчил на литовских улицах и кидал в озеро вечер за вечером.

КРАСНЫЙ КАМЕНЬ

— Господи, боже мой! — вскрикивает Мария, словно споткнувшись обо что-то.

— Оставь его в покое, ему надо выспаться, — говорит Кронерт из хлева, поворачивается и добавляет: — Он всю ночь меня сторожил.

А Сипорайт стоит в дверях, полный пьяного умиротворения, и поет:

Да не тронет мой покой
Враг лукавый, недруг злой.

Утренняя беседа. Сипорайт рассказывает дальше.

— Силы небесные, — вскрикивает Мария, — вы только послушайте!

Кронерт говорит:

— Ему выспаться надо, никак он не успокоится, всю ночь меня сторожил, до сих пор не угомонился.

— Еду я мимо Науседеляя, все спокойно, сворачиваю на шоссе — и вдруг откуда ни возьмись на доро-

---

* Стихи в рассказе переведены В. Леванским.

ге двое: один — к лошадям, другой — ко мне. Чего долго говорить, у меня был шкворень. Как хвачу его по голове! Он только собрался прыгнуть — тут и свалился. Можешь себе представить: темно, как в заднице, слева и справа лес. Я как свистнул. — Сипорайт свистит пронзительно, по-цыгански, с присвистом в начале и в конце. — Лошади рванули. Кто его знает, где парень остался... А у амбара Вибернайтов, как я мимо ехал, сидит старуха Варзус в обнимку с могильным камнем. Я ей говорю: «И чего это ты, ведь ночь на дворе?» А она кричит: «Отдыхаю, мол, — и все тут!» Сидит и в камень вцепилась.

— А... — говорит Мария, — тот, красный.

— Тут, гляжу, гроза идет, — рассказывает Сипорайт, — перебирается через Юру, не прямо а над мостом идет, вытянулась, совсем тоненькой стала и чинно так переходит по мосту, нос кверху, все как положено, а на нашей стороне опять растолстела. А дождь все еще при себе держит.

— Ну, хватит, — говорит Кронерт, — все утро пустая болтовня.

— Но, Кронертхен, ты же небось знаешь про красный камень?

— Ясно, — говорит Кронерт, — опять она его притащила.

— Когда мимо поеду, отвезу его обратно, — говорит Сипорайт.

— Правильно, — говорит Мария.

— А что будет с коровами? — спрашивает Кронерт.

— Что будет с коровами?

Перед домом Лины Варзус лежит камень — красный; красный камень, крест, скорее глыба, пото-

му что перекладина едва намечена, и вершина тоже. Стержень выступает всего на два пальца, стесано слишком мало, слева и справа, внизу и вверху. Красный крест, камень для могилы семерых детей, умерших в одну неделю от крупа; в тот же год утонул их отец; Скаликсы — так звали семью, ни одного не осталось. Как-то нахлынула талая вода и стала рыть землю, пока не пробралась под камень. Под камнем ничего не было.

Яму засыпал Кронерт песком. Ему-то что. А камень уже в четвертый раз утащила к себе старуха Варзус.

Сипорайт говорит «тпру», лошади останавливаются. Камень лежит у дверей. Где Лина?

— Выходи, — кричит Сипорайт.

— Германхен, — говорит Лина Варзус, старая женщина, она сидит в своей горнице перед каменным горшком, полным спирта. — Германхен!

Но Герман Сипорайт не слышит, он на улице, на телеге.

— Германхен!

Значит, слезть с телеги, подойти к дверям, камень тяжелый, приподнять слева, прислонить, вот он и стоит, словно каменный чурбан.

— Ну прямо идол каменный, — говорит Сипорайт.
Лина Варзус выходит из дома.
— Оставь его, Германхен, — просит Лина Варзус.
— Ну, нет, — говорит Сипорайт.
— А что будет с коровами?

В хлеву у Манкисов лежат коровы, десять голов, вода проступает сквозь шкуры. Наверху, вдоль хребта, мягко, как масло. Молочно-голубые глаза — святое

небо! — стали черными и твердыми, как вар. У Манкисов в хлеву, у Вибернайтов, у кого еще?

— Германхен, ты же знаешь, — говорит Лина Варзус.

— Старая ведьма, — говорит Сипарайт, — этому камню место на кладбище.

— А что будет с коровами?

Такой сегодня день. Серый и тускло-желтый. Как талый лед. Когда он трескается, глыбы кажутся белыми, потому что в трещинах проступает вода, совсем черная. Такой уж день. И все мокро от грозы, что подошла от моста к самой деревне, и тут-то она лопнула, туда-сюда, несколько ударов прямо в реку, и полил черный дождь; лил до пяти утра.

Небо извергало воду не переставая, но не отмылись дочиста ни само оно, ни этот день, ни опушка леса у деревни, ни Стасулисов сад, ни кусты ежевики у реки.

— Ничего я знать не хочу, и видеть я этого не хочу, — говорит Сипорайт.

— Пойдем, я тебе покажу.

В горнице Сипорайт говорит:

— Могла бы открыть ставни.

Но старуха тянет его к горшку со спиртом. Горшок полон почти до краев, поверху натянуты тесемки крест-накрест, ими привязаны змеи. Как раз за головы, головы подымаются над горшком.

Это гадюки — видны зубцы.

— Еще четыре дня, — говорит Лина Варзус.

Это знает и сам Сипорайт; змеи станут тогда совсем светлыми. Шесть недель вымачивают их в спирту, пока не выпотеет весь яд. Потом их зароют в землю. А спиртом покропят в хлевах, несколько коров издохнет, а несколько встанет, и напасть позади. Ко-

гда-нибудь она вернется снова. Так обстоит дело с коровами. А камень?

Спирт выносят наружу. И держат некоторое время на камне.

Но ведь камень — крест?

— Да, все-таки крест, хоть и не слишком четкий. Не очень-то много потрудились над этим камнем. А цвет? Где еще здесь найдешь красные камни?

Каменная баба, Густа, тоже красная. Она стоит на дороге в Зоммерау, толстый, стесанный спереди камень; на нем вырублены бороздки, нос и рот, пупок и на туловище — круг. Языческий камень. Он здесь с древних времен, это Сипорайту известно.

Ну, а этот камень, этот крест?

Да что там, мы же знаем, откуда он. С кладбища.

— Я и отвезу его снова туда, — говорит Герман Сипорайт. — Мне на вас на...

— Еще четыре дня, — говорит Лина Варзус.

Тут Сипорайт трогается в путь на своей повозке, домой, там заболели коровы. Так и быть, еще четыре дня.

— Дашь ты мне или не дашь? — говорит Вибернайт.

— Еще четыре денечка, — говорит Лина Варзус.

— Я не хочу, чтоб у меня сдох весь скот, — говорит Вибернайт.

— Ну хоть три денечка, — говорит Лина Варзус, — надо подождать.

— И не подумаю, — говорит Вибернайт спокойно и — к горшку, и — рвет тесемки.

— Вибернайт!

— Старая ведьма, — кричит Вибернайт, вырывает-

ся из рук женщины и отталкивает ее к печке; там она и остается лежать.

— Вибернайт, не надо! Еще только три денечка.

Лина Варзус приподымается. Проклятый пес! Она сидит на корточках там, где упала, а Вибернайт ушел и горшок взял. Кто знает, камень перед дверью еще? Нет, не надо, пусть их, пусть сдохнут все, раз они сами так хотят. Пес проклятый.

Так сидит старуха до самого вечера. Волосы падают на лоб, на глаза. Тихо напевает, говорит, бормочет что-то вполголоса. Потом склоняется набок, становится на колени, упирается руками, встает. И знает: сейчас они входят в хлев, Вибернайты, сначала — к задней стене, останавливаются, потом поворачиваются кругом, идут обратно, пес проклятый держит горшок, кропит сосновой веткой из стороны в сторону, слева направо, справа налево, очень медленно, еще раз, еще...

Но словечки, боже мой, их-то они не знают, а без словечек ничего не получится.

Кто знает, может быть, они привели Ауктунсову бабушку, да что она умеет! Заговор от рожи, от бородавок, но этих словечек — нет!

Тех словечек, что Лина Варзус шепчет здесь. В своей горнице, где совсем темно.

Она делает шаг к одной стене, к другой, машет руками, говорит. Теперь все. Она крепко завязывает платок под подбородком и выходит из дому. Становится на камень. Возвращается обратно и садится на стул.

— Больше я этого делать не буду, больше не буду.

Она трясет головой, не слишком быстро, не слишком решительно, она трясет головой и начинает петь.

Кто они пред божьим троном?
Что собрало их сюда?
На любом блестит корона,
Словно яркая звезда.

— Больше я этого не буду делать. Грех. Грех. Он падет на меня пред отцом небесным.

Камень все еще лежит перед дверью.

Этой ночью небо совсем ясное. Над просекой за домиком Лины Варзус надолго задерживаются две звезды, не идут дальше. Отец небесный может, если ему вздумается, поглядеть вниз или прислушаться к голосу сыча, что кричит за елками на краю просеки.

Наискось, через просеку, мимо березовых пней по песку тащит старуха камень, мается с ним, шаг за шагом, понемногу и, снова задыхаясь, прислоняется к нему.

— Я только отдохну.

Этой ночью совсем не наступает темнота. Хотя месяц держится за лесом. Позже он спустится к реке и поможет своим светом хищным рыбам, все высветит вплоть до прибрежных кустов. Спасайтесь, блестящие рыбки, не спите.

«Брось ты его, этот камень, пусть лежит, — говорит, наверное, отец небесный, который может посмотреть вниз, если ему вздумается. — Что тебе так мучиться в твои-то годы?»

Но Лина не слышит. Лежит лицом на камне. Лина умерла.

ЛОБЕЛЛЕРСКИЙ ЛЕСОК

Значит, Лобеллен совсем рядом.
Нет, далеко.
Говорю тебе, рядом.
Говорю тебе, далеко.

Тут надобно объяснить, что Лобеллен — это деревня, вытянувшаяся вдоль шоссе, а Лобеллерский лесок — это питейное заведение, ресторанчик в саду, un établissement, и притом на приличном расстоянии от Лобеллена. У кого в Лобеллене есть свои лошади, тот ездит в Лобеллерский лесок на телеге. И не берет с собой других лобелленских жителей, у которых лошадей нет. Разве что господина Теше, таможенника, таможенного досмотрщика, таможен, таможенное начальство, или как там еще принято его называть. Такой уж тут обычай. В Лобеллерском леске ему подносят пива, а Лене, так зовут жену его, — лимонаду.

Расход небольшой, а по воскресеньям здесь так хорошо. Хозяин заведения Амбрассат накрывает столы прямо на вольном воздухе и раз шесть подряд крикнет «Мария!», пока не появится его жена и не расставит где надо садовые стулья.

Тут же собрались посетители: кровельщик Борбе с женой-акушеркой, и Какшис, паромщик, и крестьянин Бруссат со своим братом, которого все зовут господин Буссат, и, как всегда, со своей законной половиной.

Хорошо здесь, в лесу. Амбрассат достает граммофон и заводит его, а рукоятку сует обратно в карман. И вот гремит музыка: «Лютцова вольный и смелый отряд» в исполнении Берлинского певческого союза учителей, я бы сказал, даже несколько устрашающем. Низкие голоса, которые рокотали что-то совсем глухо и вдруг становятся бархатно-мягкими, потому что мелодия идет вверх, еще можно послушать, но эти теноры, — как они могут пускать такого петуха, я просто диву даюсь!

И вообще этот граммофон.

Тесть Амбрассата, покойный учитель Фетт, привез его в 1893 году со Всемирной выставки в Чикаго. Он самолично поехал туда через Атлантический океан и вернулся живой и здоровый. Рассказов ему хватило на оставшиеся тридцать лет.

Амбрассат не жалеет на граммофон смазки; любой, кто к нему притронется, обязательно перемажется — вот почему Амбрассат заводит его сам. Он обещал это под честное слово своему тестю, когда тот составлял завещание. Да ведь так оно и надежней, правда?

Еще приятнее было бы, если бы пластинки играли подольше, но аппарат невелик, и ему это, наверное, не под силу, хотя это довольно прочный ящик из дерева; в боковых стенках сделаны застекленные прорези, так что всякий может, говорит Амбрассат, видеть сквозь стекло весь «препарат». Валик вращается медленно. Амбрассат говорит, что слаба передача. На одной пластинке знаменитый Карузо поет что-то африканское —

наверное, из Мейербера. Голос звучит из зеленой жестяной трубы, которая красиво возвышается над ящиком. Так бы и смотрел целыми часами, как этот граммофон работает.

Стоит приезжему лишь прогуляться немного по лесной прогалине и увидеть речку Шешупе, которая, как известно, впадает в Неман только за Ленкенингкеном, а возле Лобеллена даже и не собирается, и он обязательно услышит приятные мелодии: «Под липой» или «Холмы мои и долы».

И тогда приезжий подумает, что и сам этот край как музыка. Прогалина становится все шире и шире, лес кончается молодым березняком, небольшой кустарник, потом начинаются луга, которые мягко, по-кошачьи спускаются к песчаному берегу. Да это ясно и без музыки, которую отсюда уже и нельзя различить, которая, наверное, уже и кончилась давно.

Сюда не долетают даже крики, с которыми дети Krauledata раскачивают качели — большой ящик, повешенный на жерди между двух сосен, в нем могут сразу поместиться четверо взрослых. Или шестеро детей.

Всегда найдется что рассказать, но здесь, у воды, лучше всего помолчать. Окуни выпрыгивают из воды и хватают мух и зеленых мошек, другие рыбы тоже поднимаются из сумерек наверх, но движутся еле-еле, останавливаются и подставляют свету свои темные спины.

Воскресенье потому и называется воскресеньем, что народ воскресает после трудов. Здесь так хорошо, что ничего лучше и не придумаешь.

Можно отойти в сторонку, поближе к лошадям, и отгонять от их глаз черных мух, а от боков — металлически жестких, гудящих слепней. Занятие, за которое

вас вознаградят разве что в раю, здесь, на земле, в нем мало проку, слишком уж много развелось этих тварей.

Музыка и качели, и большие кофейники, белые и эмалированные, и свежие оладьи, и вот уже близится воскресный вечер. А Теше так и не приехали, у Теше сегодня крестины.

Амбрассаты об этом и не слыхали.

— Что вы говорите, господин Буссат!

Генрих, которого, собственно говоря, зовут Франц Киршник, стоит возле лошадей.

— Прицениться, что ли, вздумал? — спрашивает его крестьянин Буссат.

Генрих торгует скотом, он глуп, и у него водятся деньжата, а деньги к деньгам бегут; в общем живется ему вольготно, по-холостяцки.

— К чему мне ваши клячи, — говорит Генрих, — можете их оставить себе.

Что-то другое на уме у этого Генриха, он думает не только о покупке. Как увидит скот, обязательно пристроится поближе, все Киршники такие, это уж известно, все они пошли в деда, старого Генриха, и потому их всех попросту зовут, как деда.

— Не хочешь, значит?

— Это мы еще поглядим.

И тут уже первые уезжают: Буссаты и Борбе. Старый Какшис еще остается. Фрау Вильман, супруга зубного врача, хочет домой, а муж ее — ни в какую. Господин Буссат все еще беседует с лесником Крауледатом, который уже упрятал жену и детей в свой автомобиль. Господин Буссат, стало быть, остается, а Крауледат уезжает.

И вдруг приезжает Теше, сейчас, к вечеру, на велосипеде, по служебным делам, хотя и воскресенье.

— Что, уже окрестили?

— Да нет, но служба есть служба. — Таков ответ. Но тут же Теше добавляет: — А шнапс есть шнапс.

И это верно. Последнее слово гласит: что правда, то правда.

Стало быть, шнапс. Притом особый сорт, который здесь именуется «шнапсус», но по крепости все равно что обычный шнапс или водка, а если точнее — может, это даже картофельный спирт. В будни обычно покупают четвертинку и разбавляют ее водой. Но тут продают в разлив. А самое-то интересное, что шнапс тут переливается всеми цветами радуги. Их можно сосчитать, но легко и обсчитаться, а чтобы глаз был острый, требуется смочить горло, принять дозу. И кто, наконец, вдоволь насчитается и сможет перечислить все семь цветов, тот уж за словом в карман не полезет, и рассказов тут хватит за полночь, а Амбрассатовой половине и в самом деле давно уже пора спать.

— Давай проваливай, — говорит ей Какшис и заявляет Амбрассату: — Ну и хитра твоя старуха! — Он подвигает свой стакан, и Амбрассат наливает ему до отметки.

Сам Вильман, здешний зубодер, уже уезжает, к тому же с песнями. Жена его усердно подтягивает, чтобы не так заметно было, как он пьян.

А Генрих все бегает на двор. Слабый у парня пузырь.

— Наш кайзер, — говорит господин Буссат, — много пил, а на двор не ходил. Сидит себе посиживает, я сам слыхал от господина ландрата. Господам гвардейским уланам пришлось поставить себе под столами во какие горшки. Разве можно было вставать, раз кайзер сидит да сидит и все наливает себе и наливает?

Буссат опрокидывает свой стакан и при этом элегантно машет рукой.

Анекдоты всем известные.

Теше встает и тоже выходит на двор.

— Погоди-ка, — говорит он Генриху, с которым он сталкивается за углом дома, и Генрих стоит и обстоятельно застегивает брюки и ждет.

Тут над лесом поднимается луна, совсем желтая.

А Теше идет вдоль стены и говорит Генриху в спину:

— Ты мне заплатишь.

Генрих говорит:

— Но тогда все узнают.

— Никто ничего не узнает, — говорит Теше. — Ты заплатишь все сразу.

— Сколько?

— Восемьсот.

— Ты что, спятил? Откуда у меня?

— Ты неплохо заработал в Валлентале. — Но так как Генрих молчит: — Ну ладно, давай половину. Для начала.

— Пошли обратно, — говорит Генрих.

— После договорим, — заверяет Теше.

И вот они сидят опять в зале. Потом Какшис говорит:

— Выпьем еще и пойдем.

Тут они выходят.

Шестеро мужчин идут лесом.

И четверо из них домой. Трое в деревню Лобеллен. Знакомый нам Какшис — в свой домик у переправы. Перед Лобелленом дорога сворачивает вниз, к Шешупе. И двое остаются в лесу. Теше захватил с собой четвертиночку.

Надо распить, раз душа требует. И, само собой, надо присесть.

И опять разговоры, долгое препирательство из-за денег — восемьсот или пока половину — и наконец: «Хватит ломаться, у тебя ведь есть».

Да, точно, у него есть. Деньги у Генриха есть, и ребенок, что родился у Теше, тоже от него.

— Устал я, — говорит Теше.

— Приляг, — говорит Генрих.

Ложится на спину и тут же засыпает.

А Теше еще сидит немного. Луна зашла.

Теперь пустая бутылка летит в кусты.

Вот и хорошо.

Летом ночи короткие.

Генрих просыпается. Что-то влажное касается его лица, и немного погодя опять. Что же это такое? Невозможно собраться с мыслями, столько шнапсу выпито, что мысли прямо плавают в нем. Страха он вовсе не чувствует, нисколько не испугался. Шнапс, словно теплое одеяло, укутал его, — шнапс в семь цветов радуги.

Никак, лижет меня кто-то?

Тут он открыл глаза.

Над ним стоит олень, широко расставив ноги, и еще раз проводит своим шершавым языком по лицу Генриха.

Это вовсе не так уж неприятно, только щекотно, и Генрих не выдерживает, смеется, и тут олень вздрагивает и неторопливо уходит в кусты.

В сизом утреннем свете Генрих, приподнявшись, видит, что олень белый.

Рядом лежит Теше и бурчит, когда Генрих толкает его в бок.

— Ну, ясно, — говорит Теше, — бывает.

Генрих только что рассказал ему, что кто-то его лизнул.

— Но ты даже не знаешь кто, — говорит Генрих, и он слегка взволнован.

— Да будет тебе форсить! Белый олень.

Теше знает и сам: белые олени водятся тут неподалеку, в Траппенском лесу, они на самом деле серого цвета, чуточку темнее, чем исландский мох.

Кто знает, а вдруг это к счастью? Генрих никак не может успокоиться. Он встает, потягивается и начинает что-то насвистывать, но у него стучит в голове, и он перестает свистеть.

А Теше разобрал только одно слово: счастье.

— Так как же насчет четырехсот? — спрашивает он.

— Ладно, — говорит Генрих и садится с ним рядом. — Но только под расписку.

— Само собой, даю слово мужчины, — говорит Теше.

Генрих отсчитывает четыре сотенных и кладет остальные обратно в бумажник.

«Не меньше десяти таких же», — мелькает в голове у Теше. От одной этой мысли начинает болеть голова, а тут еще столько шнапсу выпито, так что Теше совсем не до свиста.

— Что ты скажешь! Я оставил свой велосипед в Лобеллерском леске, — говорит Теше.

— Не пропадет, — говорит Генрих.

А теперь можно уже все рассказать до конца.

Ребенок Теше так и растет в семье Теше, о Генрихе ни звука. Девочку назвали Мартой, сейчас она белокурая, а когда подрастет, волосы потемнеют.

Генрих пропал.

— Да мы же с ним вместе были, — говорит Буссат, — в Лобеллерском леске.

— Он хотел еще в Клокен съездить, — говорит Теше.

— Наверно, он там назюзюкался как следует, — говорит Какшис.

— Кто его знает, — говорит Амбрассат. — Тут возле границы много всякой швали околачивается.

Кто скажет, какими бывают последние мысли человека? Должно быть, в разных случаях разные.

Последние слова — дело другое, их передают потом из уст в уста, и значит, можно что-то узнать, иногда они еще долго бродят по свету.

Генриху и тут не повезло.

Да что он такого сказал?

— Знаешь, забавно так: стоит над тобой олень и язык высунул, белый олень, говорю тебе, просто смех.

— Ясное дело, — говорит Теше.

И Генрих хочет подняться.

— Брось, Теше! Да будет тебе, Теше.

Вот и вся история. По-прежнему люди ездят в Лобеллерский лесок, болтают о том, о сем. Граммофон Амбрассата. Качели Амбрассата. Семицветный «шнапсус» Амбрассата. Здесь так хорошо в лесу!

— Ну и бочки бездонные, — говорит Буссатова законная половина, — на вас вина не напасешься!

— Наш кайзер, — говорит господин Буссат, — сидит себе да посиживает.

РОЗА И ЕЕ МУЖ

Роза отворяет дверь. Она просовывает четырехгранный стержень в висячий замок, раз двадцать его поворачивает, замок отмыкается, она вешает его на петлю, кладет руку на железную щеколду и тянет за нее, дверь кабачка поддается и отворяется. Соломенная обивка обветшала, но еще служит на совесть и удерживает в доме вчерашнее тепло, а из открытой двери душно тянет шнапсом, кислым тестом, огуречным рассолом, да мало ли еще чем.

Роза Липман вытаскивает из передника сальную свечу. Теперь видно, что посредине дверь обстругана грубо — на серой доске на высоте груди осталось светлое пятно. Там было что-то намалевано — должно быть, смолой, какое-то приветствие непонятными буквами. Это намалевал Лейб в тот год, когда вернулся после войны и все увидели, что он рехнулся. Он бегал по деревне, потерял штаны и снова нашел их, и так обрадовался, что опять бегал и всем их показывал.

Был он тогда еще совсем молодой, всего годок, как женат, когда его забрали с собой солдаты, чтобы он по-

казал им дорогу, и царский офицер приказал избить его, будто бы за ложные сведения. «Если бы только они его тут же бросили, — всякий раз говорит Роза, — я бы его как-нибудь дотащила и обязательно выходила. Но они избили его и увезли в Георгенбург и там посадили под замок».

Из Георгенбурга, куда его увезли на телеге совсем еще юнцом, он вернулся пеший, ноги обмотаны соломой и тряпками, и все время разговаривал с дорогой, по которой шел, и с рекой, которая катилась слева широко, беззвучно, однообразно.

С рекой Лейб и до сих пор разговаривает, с дорогой же перестал. Он идет вдоль берега до самого Рамбинаса, где берег вдруг круто подымается, а потом резко падает вниз, словно хочет совсем перекрыть реку, где земля становится черной, идет до самых песчаных ям на лесной опушке. Что бы ему ни попадалось — камешек ли, птичьи перья, стекло, — все он кидает в реку и радуется, когда перья, медленно кружась, уплывают, и когда камни быстро ложатся на светлое дно, а осколки стекла сверкают, пока их не занесет плавучим песком.

— Вот блестит,
Как алмаз!
Без ноги
Наш дядя Влас, —

так он напевает при этом, а перьям говорит: — Плывите скорей, вам же лучше будет.

Роза подходит к полуоткрытой двери, смотрит на дорогу. Лейб, видно, где-то заночевал, может, в чьем-нибудь сарае, это на него похоже. Он слабый, бледный, руки у него вечно холодные, но он никогда не болеет. Он слоняется по двору, сам с собой разговаривает, при-

пасает торф и хворост, меняет водку на брусковое мыло, поит лошадей, когда у шипка останавливаются крестьянские телеги, но Роза чаще всего успевает отобрать у него ведро, он и не спорит — идет прочь и даже радуется.

«Прибежит, конечно», — думает Роза и затворяет дверь и громко говорит, ни к кому не обращаясь:

— Ну что это за деревня...

Деревня действительно не бог весть что. Семь крестьянских дворов на крутом берегу, словно на валу крепости. Изъезженная песчаная дорога ведет вдоль частокола и поворачивает прямо к переправе. Там стоят два-три деревянных домика, собственность таможни. Чуть пониже на реке видны две сваи и причал для пароходов. Низкорослые вишни с потрескавшейся корой. Четыре шеста вокруг прошлогодней копны, крыша риги совсем прохудилась и покосилась. Тут собирается на слеты воронье. Вот и вся деревня. И лужа в песчаной лощинке после прошлогоднего половодья все еще не высохла. Ну и деревня. «На белом свете чего только не бывает», — говорят старухи. «Ну что за деревня!» — говорит Роза Липман.

Она родилась под Вильной, как и все Липманы, семья известная, великий рабби из Ковно им сродни. Там, под Вильной, все по-другому. Там тоже песок и деревянные дома, но потом начинается город с высокими въездными воротами, вокзалом, и фабриками, и быстрыми дрожками на рессорах, а у родных Розы там ресторан. Только у дяди Нейма, артиста, нет ничего.

Ну что это — семь или восемь дворов на высоком берегу, откуда открывается вид на заречье! Далеко до тех мест, где небо сходится с землей. Или можно смот-

реть назад вдоль дороги, которая бежит через луга к лесу. Вот и вся деревня. И жители, которые выходят на улицу ближе к полудню, когда пристает пароход. Местные жители. Подшувейт, и забулдыга Пошка, и Мильбредт, и Папендик. И учитель Сикорский из приходской школы, с громкими разглагольствованиями и вечной песней про немецкий Рейн. Он препарирует лягушек, спиртует червей и, должно быть, вгоняет в них те премудрости, которые неслухи не желают усваивать на его уроках. Местные жители.

Стенные часы в шинке Розы Липман показывают десять. Заходит старик Влас, одноногий ветеран, по прозвищу Калмык. Садится. Роза приносит ему клок газеты. Он отрывает себе уголок, сворачивает цигарку, насыпает туда искрошенный черный табак. Потом выпивает. Все это молча. Роза ополаскивает стаканы. Поговорить успеется и после, когда придет торговец скотом Кен; он нынче, как и каждый вторник, едет пароходом в город. И Лейба все еще нет. Вот и Калмык его сегодня не видал. Последний раз, говорит, вчера вечером...

Вечером на реке всегда так: кажется, словно другого времени суток не существует. Идешь, идешь и не замечаешь, как остановился. Чувствуешь под ногами нетвердый песок и все же стоишь, как на камне. Приложишь к уху ладонь и услышишь то, чего никогда не бывает. Песчаные ямы светятся зеленоватым светом, берег почернел, и, едва зайдет солнце, река становится совсем белой. И течет далеко, к той мрачной горе, где живут литовские духи и призраки наполеоновских солдат и охраняют сокровища, каждый — свое.

Оттуда, от Рамбинаса, идет Лейб, его подгоняет ветер. У ветра есть имя, его зовут Антанас, и всегда он рассказывает одно и то же: в Грауденe лес рубят, в Краупишкене почтарь напился, в Лифляндии молоко сластят. Ночь наступает, прежде чем Лейб добирается до деревни.

Тут он слышит, как мужчины, спотыкаясь, спускаются вниз по склону. Вот Пошка. А это господин Кен. А это учитель из церковной школы. И еще трое или четверо других. И господин Кен повышает голос, и Сикорский говорит ему что-то назидательное насчет Рейна, прекрасной немецкой реки, и тому подобное. Но разве можно поучать богатого скототорговца? Какой тут подымается крик, сами понимаете, так что про все остальное мы быстро доскажем.

— Вот он, еврей придурковатый, — говорит Пошка.

— Гляди-ка, и вправду он, — подтверждает Сикорский.

— Поди сюда, — говорит Кен.

— Евреи народ чистоплотный, — говорит Сикорский и чуть пошатывается.

— Но этот вот по уши в дерьме, — говорит Кен.

— Всегда чисто вымыты, — настаивает Сикорский.

— Как пес, вылезший из болота, — говорит Кен.

— Ты, верно, забыл про свое омовенье, проныра несчастный? — кричит на него Сикорский. И, вновь обращаясь к скототорговцу, поучает: — У них обычай такой.

— Да ты поди сюда, — говорит Кен.

Они тащат его к пристани, а потом и вниз по сходням. Он и не упирается, а только смеется тихонько. Его окунают в воду шесть-семь раз.

— Грязный еврей, — говорит Пошка.

— Еще, еще давай, — говорит Кен, — на нем грязь прошлогодняя.

Сикорский, шатаясь, бредет по сходням обратно к берегу.

— У нас в роте был Ицик, — орет он, — так тот книжки писал.

— Ах, брось, — говорит Кен и идет за ним следом.

А Папендик стоит на берегу и не знает, куда же девался этот еврей.

— Куда он пропал? — спрашивает он, а Пошка тоже не знает.

— Да, куда он пропал? — спрашивает Папендик уже громче.

Кен поворачивается:

— Кто пропал? — переспрашивает он.

— Да этот самый Липман, — говорит Пошка.

— Вот болван, — говорит Кен. — Да ты бы нырнул за ним.

Мужчины все еще стоят на месте.

— Эй, вы, проваливайте отсюда! — говорит Кен.

Сикорский бежит вверх по склону. «Обогну деревню стороной, — думает он. — Через час я дома».

Красавец Рейн ему надоел. Здесь река не такая. Совсем белая. Идешь, идешь и не замечаешь, как остановился. Чувствуешь под ногами нетвердый песок и все же стоишь, как на камне. Приложишь к уху ладонь и услышишь то, чего никогда не бывает. Над лугами ползет туман и подымается все выше.

В питейном заведении Розы Липман стенные часы показывают полдень. За столом сидит Влас. Он заказал два стаканчика, третий Роза ему налила просто так.

В шинке пустовато. Несколько человек ждут парохода. Роза смотрит в окно. На пристани стоит торговец Кен. Что-то нынче он не зашел.

Вот уже виден пароход. Кучер Кена достает большой портфель, отдает его Кену, усаживается поудобнее, теперь можно и обратно ехать.

— Допивайте, детки, пароход дает свисток, — кричит Роза и отворяет дверь.

— Sudiev *.

Только Влас остается.

Роза стоит на дорожке, вытирает руки о передник. «Скоро полдень, — думает она, — а Лейба все нет...» Она машет вслед пароходу, который уже заработал своими лопастями, и возвращается в дом.

— Еще стаканчик, дядя Влас?

---

* С богом, прощайте *(литов.)*.

III

МЫШИНЫЙ ПРАЗДНИК

Мойзе Трумпетер сидит на низеньком стульчике в углу своей лавки. Лавка маленькая, и в ней пусто. Должно быть, потому, что солнце, которое частенько сюда заглядывает, любит простор, да и месяц тоже. Он тоже часто заглядывает сюда, хотя бы мимоходом. Да, здесь и месяц гостит. Вот и сейчас он зашел к Мойзе, притом через дверь, колокольчик только раз звякнул, и то совсем тихо, но, может, вовсе не оттого, что в дверь заглянул месяц, а оттого, что на тоненьких досках пола так проворно бегают и танцуют мыши. Месяц заглянул в гости, и Мойзе сказал ему: «Добрый вечер, месяц!» — и вот они оба смотрят на мышей.

Ведь у мышей каждый день все по-разному: сегодня они танцуют так, а завтра этак, и чего только не выделывают своими четырьмя лапками, тонким хвостиком и острой мордочкой.

— Послушай, милый месяц, — говорит Мойзе, — это еще не все, если бы ты знал, какое у них тельце и какие они забавные! Но тебе этого, наверное, не понять, и потом они вовсе не бывают каждый день ины-

ми, наоборот, они всегда делают то же самое, и это, по-моему, и есть самое удивительное. Вернее сказать, ты каждый день иной, хотя и входишь всегда в одни и те же двери, и всегда бывает темно, пока ты не усядешься тут в углу. А теперь веди себя тихо и гляди повнимательней. Видишь, каждый раз одно и то же.

Мойзе бросает прямо у своих ног корочку хлеба, и мыши сразу подбираются ближе, ближе и ближе, некоторые даже подняли головы и потихоньку принюхиваются.

— Видишь, как оно бывает. Каждый раз то же самое.

Вот и сидят два старика, и радуются, и даже не сразу услыхали, что дверь в лавку отворилась. Только мыши это учуяли и удрали, да так быстро, что и не скажешь, куда они подевались.

В дверях стоит немец. Солдат. У Мойзе хорошее зрение, он видит: молодой человек, вроде бы школьник; он даже и не знает, чего ему здесь нужно и зачем он тут стоит в дверях. «Пойду взглянуть, как живут эти евреи», — подумал он, наверно, и зашел. А тут сидит на своем стульчике старый еврей, и в лавке светло от лунного света.

— Ежели желаете, так зайдите, герр лейтенант, — говорит Мойзе.

Мальчишка прикрывает за собой дверь. Его совсем не удивляет, что еврей говорит по-немецки, он просто стоит, а когда Мойзе поднимается и говорит: «Сердечно прошу вас, другого стула нет у меня», — солдат отвечает: «Спасибо, я постою», — но делает два-три шага в глубь лавки, а потом еще три шага по направлению к стулу. И так как Мойзе еще раз предлагает сесть, он садится.

— Теперь прошу потише, — говорит Мойзе и прислоняется к стене.

Корка еще лежит на своем месте, и, гляди-ка, мыши появляются опять. Как и раньше, ничуть не медленнее, в точности, как раньше, — ближе и ближе, и подымают мордочки, и принюхиваются, и тихонько посапывают, так что слышит их только Мойзе и, может быть, еще месяц. В точности, как раньше.

И вот они снова обнаружили корку. Мышиный праздник, скромный, конечно, ничего особенного, но все же и не совсем будничное дело.

Что ж, посидим и посмотрим. Войне исполнилось уже несколько дней. Страна называется Польшей. Она совсем плоская и песчаная. Дороги в Польше неважные, и везде много детей. О чем тут еще говорить? Сюда явились немцы, им нет числа, один из них сидит тут в еврейской лавчонке, совсем молодой, молокосос. В Германии у него осталась мать, и отец его пока что тоже в Германии. И две сестренки. Настало время повидать мир, так он, должно быть, думает. Сегодня мы в Польше, а потом, может быть, прогуляемся в Англию, а эта Польша — до чего же она польская...

Старый еврей прислонился к стене. Мыши все еще возятся со своей коркой. Когда она станет совсем крошечной, старая мышь, их мамаша, заберет их домой, а другие мыши побегут за ней вслед.

— Знаешь что, — говорит месяц старому Мойзе, — мне пора.

Мойзе и сам знает, что месяцу стало вдруг неуютно, потому что здесь сидит этот немец. Чего ему тут надо? Мойзе может только сказать:

— Погоди, побудь еще немножко.

Но тут сразу встает с места солдат. Мыши убега-

ют, трудно даже понять, куда это они все разом могли исчезнуть. Он раздумывает, надо ли сказать: до свиданья, — и потому еще минутку задерживается, но уходит, не попрощавшись.

Мойзе не говорит ничего, он ждет, что скажет месяц. Мышей нет, они разом исчезли. Мышам-то это легко.

— Это был немец, — говорит месяц, — ты же знаешь, какие они, эти немцы. — И так как Мойзе, как и прежде, стоит, прислонясь к стене, и ничего не говорит, он продолжает уже настойчивее: — Убежать тебе некуда, спрятаться некуда, ах, Мойзе!.. Это был немец, ты сам его видел. Пожалуйста, не говори мне, что мальчишка вовсе не немец или, во всяком случае, немец нестрашный. Теперь для нас все они одинаковы. Если они заберут всю Польшу, что будет тогда с твоим народом?

— Да, я слыхал, — говорит Мойзе.

В лавке все залито белизной. Свет заполняет всю комнату, до самой двери в задней стене. К ней прислонился Мойзе, весь белый-белый, и кажется, что он все глубже и глубже уходит в стену — с каждым словом, которое он говорит.

— Я знаю, — говорит Мойзе, — ты прав, во мне подымается гнев на моего бога.

ПРОРОК

Бывают на свете города или деревни, которые, под стать иным людям, любят покрасоваться своими знаменитыми родственниками. Основываясь на изысканиях учителей местной гимназии, они присваивают себе новые имена и желают, чтобы их величали не иначе как Саксонскою Флоренцией, Прусскими Афинами, Малым Парижем и Великою Британией. Вот такое имя присвоила себе деревушка между Гейнрихсвальде и Линкуненом.

Город, о котором пойдет речь, мог бы без этого обойтись, однако он, как и Рим, стоит на семи холмах и законно гордится своим университетом, академией художеств и процветающими научными обществами, в том числе даже обществом любителей древности.

Из здешних семи холмов лишь один расположен в южной части города, то есть к югу от большой реки, на которой стоит наш город; в давние времена на этом песчаном холме шумел сосновый бор, потом холм был распахан под овес; ныне здесь находятся церковь,

кладбище, которое давно уж заброшено, но все же достойно внимания, и доходные дома, которые теснятся здесь один за другим в унылом порядке. Прочие шесть холмов — на северном берегу реки. И так как все высокие и низкие места застроены с известною равномерностью — на взгорье дома пониже, а в низинах повыше, — то, собственно говоря, все различия стираются: и не поверишь, что здесь в самом деле так много холмов — целых семь. Только улицы ведут то вверх, то вниз и зовутся Подгорная, Старая Горная, Косая Гора и Кривая Нора; все они узкие и даже с церковной колокольни едва различимы в тени своих островерхих крыш, которые чуть не касаются друг друга.

Крыши здесь все с острым щипцом. Внизу, в полутьме, бегут улицы. Справедливости ради надо упомянуть еще несколько красивых площадей, из которых одна расположена на крутом косогоре.

Достославные семь холмов легко сосчитать с любой церковной колокольни, откуда отлично видны шесть из них: ведь мы сами стоим на седьмом холме, и о нем легко забыть. Сверху они видны как на ладони; на каждом возвышается церковь: Лебенихтская церковь, которая, собственно говоря, именуется Святою Барбарой-на-Горке, Замковая церковь, Нейросгертенская, Альштадтская и так далее. Только собор в Нижнем городе стоит не на холме, но зато он и занимает почти половину острова.

Но выше всех семи холмов расположен Верхний пруд. На самой высокой возвышенности, которая далее тянется к северу, здешнее плато, но такое ли уж высокое оно, как говорят, я сказать не берусь.

Этот Верхний пруд недаром так называется: расположен он на высоте, и это настоящий пруд, круглый и

немалых размеров. Два пляжа — один для военных, другой для штатских; на берегу парк с кустами и купами деревьев, а дальше — бастионы, валы, укрепленные форты, пересохшие рвы, галереи и гласисы и все прочее, что прежде служило для обороны города, а ныне сохраняется больше для красоты: ничего не поделаешь — история... И, разумеется, время от времени, к удовольствию горожан, сей памятник изменяет и свой облик и свое назначение.

Этот самый Верхний пруд широко раскинулся на своем возвышении, а ниже и южнее есть и Крепостной пруд. Он же скорее узкий, чем широкий, и воду берет из Верхнего пруда: она тихонько стекает или бурно мчится по ступеням Большого каскада, смотря по тому, насколько поднят шлюз наверху; сначала из небольшого домика с круглым бассейном она движется по ступеням, которые становятся все шире и шире, потом сквозь железную решетку попадает в короткий канал и оттуда уже, вместе с прибрежными дорожками, пробирается до Крепостного пруда; вода там немного с душком.

Но все равно по его темной болотной глади мелькают лодки, нарядные светлые платья, а по всему берегу видны сады, питейные заведения, кафе на открытом воздухе, и по вечерам здесь бывают лодочные гонки. На южном берегу Крепостного пруда подымается замок с восьмигранной угловой башней и затейливыми сводчатыми воротами.

Есть в этом замке еще две башни, тоже не очень высокие, но обе круглые; из них колокольня Замковой церкви чуть повыше. На нее можно, конечно, влезть, но нам это сейчас ни к чему; мы встанем у башни с видом на юг, что замыкает юго-западный угол крепости,

встанем наверху и можем даже прислониться к стене. Тут рядом с нами окажутся двое.

Один говорит: «Блюдите заповедь божью». Он мал ростом. Другой велик, но не говорит ничего. На то ведь он и кайзер, да еще бронзовый, и стоит он на каменном постаменте, откуда ему не сойти. Первый может уйти туда, где нуждаются в нем и в его слове. Здесь, в замке, он, может быть, просто бросает свое слово на ветер. Но он все равно повторяет его, и оно звучит — над легковыми машинами, грузовиками, мотоциклами, велосипедами, трамваями, овощными тележками: там внизу проходит главная улица города, и слово его там надобно.

Но вот он спускается по лестнице на площадь и уходит. Мы, я думаю, за ним не пойдем, мы ведь его уже знаем. Там, внизу, он встречает старого суперинтенданта, они здороваются, потом говорят друг другу «до свиданья». Знакомый наш идет дальше, простой человек, из Литвы родом.

Когда-то здесь уже явился один такой, родом тоже из Литвы, и говорил примерно то же самое лет триста тому назад. Он говорил грозные речи и звал себя Бичом Дворян или же Шмалькилимундисом или Шмалькалальдисом, а то и без обиняков Сыном Божиим, — хоть он и впрямь был божье чадо, как и всякий человек, и потрясал латинскою библией. За это он и был казнен позорной казнью, не ранее, впрочем, чем вздорная баба, имевшая звание здешней курфюрстины, выразила ему самолично, как гласит молва, свое светлейшее порицание, которому он не внял. Казнили его здесь в городе, чтобы торжественностью его казни изгладить из памяти торжественность его выступления.

Но в нашем литовце нет ничего торжественного.

Вслед ему несутся крики детей да качают головами прохожие; и еще за ним следует один забавный анекдотец. Анекдотец же рассказывают только потому, что этого человека неизменно путают с другим, кстати сказать, путают охотно и вполне сознательно, иначе пришлось бы этот анекдотец приклеить просто-напросто одному пьянчуге, о котором речь и идет, но тогда он, конечно, потеряет всю соль.

Этот анекдот требует некоторых разъяснений.

Надо знать, что тайный советник Квинт, крохотный старичок, настоятель собора на острове, рано утром, еще до начала настоящего богослужения, служит рыбацкую заутреню для приезжих, которые привезли на рынок рыбу, чеснок и капусту, заночевали в городе после субботней ярмарки и прямо от ранней заутрени отправятся к себе домой, вверх по реке, а потом по протоку к деревушкам близ лимана, где они и живут.

Кроме того, надо знать, что пастор Штейндаммской церкви Мотц отпирает свой храм на час раньше, чем положено, чтобы поговорить всласть; это очень ценит его паства с улицы Вагнера, знаменитой своими борделями и названной по имени здешнего врача. Из Штейндаммской церкви еще можно поспеть к пастору фон Бару, в Трагхейм, а оттуда уже рукой подать до Старого города. Кстати сказать, господин фон Бар говорит ровно двенадцать минут — все равно дольше слушать не будут, а консистории советник Клаудин с редким изяществом укладывается в двадцать пять минут. Пастору Штейнбергу из Лебенихтской церкви требуется добрых сорок. Дольше всех — целый час — говорит настоятель Кесслау. Все это надо знать.

Итак, тот, о ком мы говорим, обходит, что ни воскресенье, церковь за церковью и везде поспевает к при-

частию. У него все давно подгадано, а ходит он резво. Когда же настоятель собора, завершая торжественную службу —в соборе как раз замыкается круг и кончается точно рассчитанный обход, — уже хочет забрать святую чашу, тут-то, если верить анекдоту, наш приятель (ну, разумеется, не литовец) успевает ухватить ее, приговаривая: «Моего Иисуса не выдам!» — и отпивает добрый глоток.

Мы-то знаем: наш тихий литовец тут ни при чем. Мы не станем повторять за его спиной подобную сплетню. Может быть, мы повстречаем его снова, раз он теперь нам знаком.

Не подумайте, однако, что мы хотим заселить наш город одними чудаками, — это было бы, конечно, неплохо. Но ведь это большой город, где много достойных людей, где есть промышленность, верфи, вагоностроительный завод, обширная гавань и бойкая торговля, к тому же это крупный перевалочный пункт. Два или три чудака вовсе не в счет, да и кто их заметит?

Кстати, мы собирались догнать еще нашего литовца, жаль, что поздно, мы потеряли его из виду. Итак, мы спустились вниз по лестнице, пересекли площадь возле магазина, перешли мост, оглянулись с того берега на портовые склады, близ которых стоят пароходы на якоре, и, миновав еще один мост, вышли в предместье. И тут в равномерной уличной суете обнаружилось какое-то беспокойство, вдруг что-то нарушилось, вдруг заволновались и мы, три или четыре подводы свернули в боковые улицы, остановились машины, послышались режущая слух музыка, крики команды; и тут выехали конные полицейские, а вслед за ними нацисты, целая колонна, коричневые с головы до пят, только глазам надлежало быть голубыми по возможно-

сти. Но нам нельзя забывать про наших чудаков или как там их следует называть...

Вдоль коричневой колонны бежит уличный флейтист Прейсс и на всю улицу орет, какого он о ней мнения: лодыри, бродяги, пьянь и прочее, — и грозит им своей флейтой.

Собственно, он имеет в виду коммунистов, ведь он говорит:

— Из-за вас, губошлепов, наш кайзер проиграл войну.

Для него все едино, демонстрация есть демонстрация, на дворе тридцать второй год, ему никто ничего не объясняет. Да и кто будет объяснять?

Нашего тихого литовца Прейсс наверняка засмеял бы. Это бы еще ничего; но нет, он и слушать не стал бы литовца, такую глупую башку. Ах, Прейсс...

Да, но кто же ему тогда все объяснит? Пьянчуга из анекдота?

Тот только говорит презрительно, имея в виду коричневых: «Этот фюрер ихний не пьет».

Или же настоятель собора? Но тот слишком учен, чтобы вступать в разговор с Прейссом, или, может быть, как раз недостаточно учен.

Чего доброго, он заглянет к пастору Мотцу из Штейндаммского прихода. Тому очень хотелось бы взять всех своих прихожан в охапку и отправить их прямо на небо. Да нет, разве он соберется к пастору, этот Прейсс! А ему ведь надо бы зайти, скажем, в ту же Штейндаммскую церковь, он ведь живет в этом приходе.

Тем временем вышел последний срок — для всех. Через полгода будут хозяйничать люди Адольфа Гитлера. Тогда они примутся не только за коммунистов,

из-за которых наш кайзер, по мнению Прейсса, проиграл войну, они доберутся и до самого Прейсса, в его же доме на улице Вагнера (которая отныне будет переименована в улицу Рихарда Вагнера, но во всем прочем останется такой же, как была), как до врага государства или врага народа, так они выражаются, то есть доберутся до него по тем же причинам, что и до коммунистов, а чуть попозже — и до настоятеля собора. Заодно они упрячут подальше и пьянчугу, воскресного богомола, как явно асоциальный элемент, а немного погодя и нашего тихого знакомца — за его умственную неполноценность.

«Блюдите заповедь божью», — крикнет он им, когда они войдут. Но они его не послушают.

ПЛЯСУН МАЛИГЕ

То, что мы расскажем о плясуне Малиге, целая история. Началась она в августе тридцать девятого года, в конце месяца, в крохотном провинциальном городке, который трудно даже описать из-за его неприметности.

В центре его, как и во всех таких городках, расположена довольно большая рыночная площадь, совсем пустынная. И не только днем, в эту жаркую пору, когда прохожий жмется, тяжело дыша, поближе к низким островерхим домам, не решаясь пересечь площадь, как бы побаиваясь этой текучей и тяжелой глыбы раскаленного воздуха, которая словно нарочно пригнана по мерке четырехугольной площади и заполняет ее до самых фасадов домов.

Но и по вечерам, когда неизвестно откуда потянет прохладой, то ли с озера, что к северо-западу от города, то ли с влажных лугов, уходящих к югу, до деревни Парадиз и дальше, до Венедина, все стараются не отходить от дома, куда можно в любое время войти отдохнуть: вечер — время усталости, а там, на широкой

площади, ничего, кроме одиночества. Скоро и месяц взойдет, и горбатая мостовая заблестит каким-то странным блеском...

Мало ли есть причин, чтобы не выходить на рыночную площадь, да еще одному, в этом тридцать девятом году.

Поздним летом. В жаркую пору. Когда начинается история плясуна Малиге.

Он сейчас торчит в казарме на окраине города, одет в солдатскую форму, сидит за столом вместе с прочими, играет в карты, обычная игра за обычным казарменным столом, и уже, пожалуй, смотреть надоело, как карты в его руках сами собой складываются в какой-нибудь фокус, и начинается смешное предсказанье или дерзкая подтасовка масти — нехитрые трюки, их можно объяснить и даже выучить, и, стало быть, занятие это совсем несерьезное. Конечно, он всех забавляет, но только сейчас это ни к чему, когда ставка грошовая, хотя Бломке и предлагал сыграть в скат на три пфеннига.

Так вот, стало быть, сидят Малиге и этот самый Бломке, и еще Кречман и Науэкс. Все прочие открыли свои тумбочки и драят себе сапоги, собираясь в город. Бломке швыряет карты на стол.

— С тобой играть нельзя, — говорит он.

И Кречман и Науэкс согласно кивают. Значит, когда все остальные удерут в город, эта четверка переберется в столовую поболтать и выпить кружку пива, пока Бломке не придет в раж и вместо карт не начнет швырять на стол хрустящие бумажки, по пятьдесят марок каждая, и угощать всех, кому охота выпить. Тогда рядовой Бломке, призванный из запаса, сразу повышает-

ся в звании — теперь это господин Бломке, богатый торговец углем.

Так продолжается уже пятый день. Как обычно в казарме: строевая подготовка, налево, направо, разобрать оружие, к ноге. Половина казармы — пожилые из запаса. Хозяин пивнушки Цельт подтягивается на шведской стенке двумя руками, и мышцы у него болят. Кречман, портовый рабочий, грузчик из большого провинциального города, ловок и в обращении с винтовкой и в жиме и легко выжимает одной рукой тяжелую табуретку. Науэкс по природе невозмутим. Когда офицер на поверке с брезгливым возмущением тычет пальцем в пятно на его прикладе, Науэкс спрашивает: «Ты что, ржавчины не видывал, господин лейтенант?»

Все они, как уже говорилось, народ пожилой, из запаса, недавно мобилизованные и расквартированные в этом городишке. Любят поговорить и о войне, конечно, тоже, но больше о мужской удали, немецкой удали и не очень-то верят в новую войну. Там, за Мазурами, есть города, которые хранят еще следы прошлой. Считают, что всех вызвали на сборы, как не раз бывало. Притом же есть еще и пакт о ненападении, это всех успокаивает. Но Бломке — человек дальновидный, он отводит Малиге в сторонку. «Если жрать гильзы от сигарет... — говорит он, и плясун договаривает: — «...заработаешь рвоту». — Дело хорошее, — говорит Бломке, — а если каждый день рвота?» — На это многоопытный приятель дает ответ: «Тогда они подумают, что у тебя язва». Бломке больше ничего и знать не требуется.

Дня через два-три фельдфебели и младшие офицеры вдруг забегали как ошпаренные: вновь прибывшие роты, пополненные за счет запаса, отправляют куда-то на грузовиках и в железнодорожных вагонах; в нераз-

берихе и спешке раздают и испытывают какой-то прибор, который называется «противогаз-30».

— Это не к добру, — говорит Кремчан, — что они, рехнулись, что ли?

Ах, Малиге, что все это значит? У тебя была работа, в последнее время — в Луна-парке, до этого в Бремергафене, а еще раньше — в Копенгагене, в Тиволи, потому тебе и приходится заполнять еще один листочек анкеты: последнее пребывание за границей; твоя работа называлась — силовой номер, ты делал стойку на одной руке — вместо опоры зеленое горлышко бутылки; и так все последние годы, а раньше ловил под трапецией акробатов, был статистом в варьете, но, собственно говоря, ты — танцор, и, глядя на тебя, сразу понимаешь это: ты строен, движения твои естественны и изящны, а носки у тебя разведены немного в стороны чуть больше, чем требуется. Расскажи что-нибудь посерьезнее, Малиге, брось свои шутки.

— Эй, вы, заткнитесь!

Это мальчишеский голос лейтенанта Анфлуга, он слышится уже на улице Млавы, часть уже перешла польскую границу, и солдат Малиге хочет ответить такое, что, как песок, заскрипит у лейтенанта на зубах, одно-два слова в ответ на бравую речь лейтенанта о польской сволочи и мировом еврействе, так сказать, дополнение к прочитанному в казарме докладу унтер-офицера запаса Бенедикта на тему: «Германский рейх как верховная власть Европы». Но что он, собственно, сказал, этот плясун? Он просто заходит в польский дом и играет на рояле. И это все?

И Кречман, напившись, бегает вокруг бревенчатого хлева с примкнутым штыком и пригвождает курицу к земле. И ротный повар Маркшис покупает у него

эту курицу за сигареты. И Науэкс беседует с поляками. И Цельт торгует хлебом. Как быть, если даже опытные вояки ничего не знают про эту войну? Вихерт говорит:

— Ты же понимаешь, что все это завтра не кончится.

Городок здешний стоит на речонке, один ее берег пологий, другой холмистый, то выше, то ниже, но не особенно крутой; и весь город — словно разбросанная деревня или, вернее, несколько деревень: рядом с сельскими немудреными постройками соседствуют городские — школа, больница и все прочее, католическая церковь, синагога. Здешний народец, как кажется, мало видел хорошего, но он не так уж и незлобив, как представляется, все шныряет, шныряет возле солдат и говорит на своем ломаном немецком.

Лейтенант Анфлуг оборудовал свой командный пункт на высоком берегу. Там у него средства связи — телефон, связная машина с кабелем; туда и направляется ефрейтор санитарной службы Машке; и Малиге, повстречавшийся с ним на деревянном мосту, присоединяется к нему, услыхав, что Бломке подал рапорт о болезни. Машке говорит: «Боли в животе и высокая температура».

Коротышка Машке — аптекарь и разбирается в симптомах. Малиге с ним согласен: «У парня язва. Сожрал уже полкоробки моих сига... то есть таблеток». И вдвоем они взбираются на холм.

Здесь, наверху, свежий ветерок. Начало сентября. Благодатное время. Можно обернуться и окинуть взглядом весь город. Машке и оглядывается на минутку, он, может быть, посмотрел бы подольше, но сразу оборачивается, услыхав голос Малиге: «Эге, погляди-

ка!» Сказано не громче обычного, но с таким выражением в голосе, что сразу повернешься на каблуках.

И в самом деле есть на что поглядеть.

Внизу, на берегу речонки, столпились евреи, длиннобородые, в черных кафтанах и черных шляпах, толпятся возле тяжелой катушки с телефонным кабелем и пробуют оторвать ее от земли, и снова ставят на землю, и пробуют опять, а потом трое или четверо стариков, взявшись вместе, волокут этот кабель вверх по склону, но только они добрались до середины, как навстречу им Анфлуг и пинком выбивает катушку у них из рук. Пускай несут как следует! Катушка катится вниз.

— Догнать! — орет Анфлуг.

Ну, конечно, не утонуть же ей в речке.

Разумеется, все это шутка. Анфлуг пригнал этих евреев из синагоги на том берегу, где они собрались всем кагалом. Какой же в этом смысл? Спускать под откос, снова катить вверх, снова спускать под откос?

— Пусть поработают, — говорит Анфлуг.

Машке кажется это смешным. Малиге тоже. Он быстро выскакивает вперед и начинает, так сказать, торжественный выход — ноги у него сами собой пускаются в пляс: сначала подскок, потом скорый шаг, остановка, шаг вперед, два назад, и так до самого края пригорка. Мимо Анфлуга, который должен бы все это заметить, но слишком уж занят. И вот — артист так артист! — тем же шагом он движется вниз по склону, ничуть его не убыстряя. Так сказать, искусство замедленного танца.

— Рехнулся, что ли?! — орет Анфлуг.

Теперь уж никак нельзя не заметить этот балаган.

Машке махнул рукой на своего Бломке со всеми его

болезнями; он тоже мчится к краю пригорка, остановился, смотрит.

Малиге уже внизу, раскинул руки, машет ими, как крыльями, словно зеленая птица в стае чаек, и явно приглашает своих зрителей, всех этих пожилых господ там, внизу, занять места: он, Малиге, дает сейчас бесплатное представление, или, выражаясь профессиональным языком, выдаст номер — он уже подхватил катушку с кабелем; поднял ее, словно волшебную шкатулку, откуда вот-вот вылетят голуби и за ними светлый летний зонтик, который раскроется сам собою. И все по-прежнему танцует, высоко подняв голову. И вот, поддерживая обеими руками катушку, как будто она сию же минуту улетит, он пляшущим шагом, не замедляя и не ускоряя движений, начинает подниматься в гору.

Анфлуг пошатывается, делает шаг вперед, хватается за свою фуражку, за портупею, начинает кричать, рычит и рычит, как зверь, выкрикивает приказы или что-то еще, какой-то бессмысленный вздор. И видит, что Малиге пляшущим шагом приближается к нему, все ближе, ближе, осталось несколько метров, пляшущим шагом, откинув голову назад и приоткрыв рот.

Спрыгнув с автомобилей, к ним подбегает весь взвод: Кречман, Цельт, Вихерт, Маркшис, Науэкс; они стоят, смотрят на плясуна, уступают ему дорогу, когда он показывается наверху, потом делает шаг назад, четыре коротких шажка вперед и, оказавшись на холме с катушкой в руках, еще и заключительный подскок.

Под бешеный рев Анфлуга, который вырвал пистолет из кобуры, заряжает его, но роняет обойму, швыряет на землю пистолет и, сделав поворот, как по команде «кругом», вдруг убегает, все еще что-то крича.

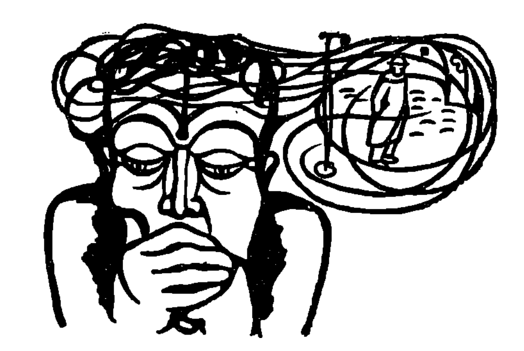
Вот, собственно говоря, и вся история. В начале войны. На берегу польской речушки. В городе, который вскоре погибнет в дыму пожара. В начале войны, которая продлится еще очень долго. Во время которой Бломке выхлопочет себе белый билет из-за своей язвы; но два года спустя его призовут снова. Во время которой Науэкс умрет от пули, Кречман погибнет геройской смертью — захлебнется пивом в подвале пивоваренного завода, проведя там две недели. Во время которой хозяин пивнушки Цельт заведет себе отличного терьера по кличке Леди, но это уже год спустя, во Франции.

Лейтенанта Анфлуга уберут. Переведут в другую часть. За поведение, недостойное германского офицера. История же с Малиге, приключившаяся в начале войны, будет забыта. Быть может, он проживет еще долго. Тогда его, надо думать, переведут во фронтовое кабаре, это вполне возможно, хотя туда охотнее берут дам, так что кто его знает. Я знаю только то, что рассказал.

И еще я знаю, что наступает вечер. После всего, что было. На высоком берегу реки, чуть подальше военных автомашин, стоят соломенные стога и блестят особенным блеском, когда на них падает лунный свет. Что над рекою встают туманы. И мы могли бы перейти мост и побродить по городу в этот ночной час, если бы нас не ждала неизбежная встреча с самим собою, именно тут, в этом польском городе, совсем необъяснимая встреча.

IV

ВСЕ ЭТО КОНЧИЛОСЬ



Утром, сентябрьским утром, когда я шел к вокзалу, через площадь с влажными от росы ночными такси, которые видели первые утренние сны, когда редкий туман еще полускрывал кусты и зеленые газоны, и когда постаревший Орфей в обвислых широких штанах крался через площадь, чтобы снова занять свое место возле общественного туалета, читать надписи и что-то к ним приписывать с безнадежным видом,

когда мальчик, торопясь в школу, выходил из трамвая, резвый и любознательный, но уже с лицом и глазами пьяницы, с маленькой морщинкой от носа к углу рта, веселый, с вихром над самым лбом, мокрым и блестящим, как золотой венчик водяного эльфа,

тогда я каждый раз останавливался перед вокзальной дверью, еще раз оборачивался, чтобы оглядеть всю площадь до того места, где асфальтированная улица поднимается на крутизну моста и где виднеется купол церкви за ним,

пока я не толкал ногой вертушку двери и не направлялся скорым шагом к стойке.

Ничего этого я уже не вижу. Я уехал в другую часть

города. Я не вижу и пивных погребков, которые начинались прямо в боковых улочках; было их семь или восемь подряд, этих погребков, где кучера пили свой утренний кофе, кюммель или водку, сначала две обычные рюмочки, потом три двойные. Ничего этого я не вижу. Я ведь начал другую жизнь, моя профессия не допускает ничего такого, обязывает меня носить костюмы, сшитые на заказ, утром пить чай с овсяными хлопьями, курить сигарету и по вечерам открывать бутылку красного вина. Так все говорят, и это правда. И было бы неправдой, если бы я сказал, что хочу вернуть ушедшее время, с вокзалом, туманом и такси, мальчиком и третьим от угла погребком, где хозяина звали Эрих и где меня считали самым метким стрелком.

Был там Отто Клеммер, кровельщик, Брюккенштрассе, 10. «Знаешь мою собаку? Говорю тебе, это полярный медведь!» И вот заходила собака, шпиц, раздобревший от старости и посланный отыскать хозяина, чтобы привести его домой. Отто видел меня потом в Копенгагене, в Вильгельмсхафене и в других местах.

— А теперь ты прежним делом не занимаешься? Послушай, если ты снова задумаешь номер, можешь рассчитывать на меня. Я буду у тебя подручным или кем-нибудь еще.

А хозяин думал, что я служу в газете.

Вот тогда и появилась Елена, как-то вечером, в брюках и с длинными волосами, и два мальчика, в качестве свиты, оба искусствоведы, и завязала дружбу с хозяйским котом, и пила много шнапса, и говорила всегда полуфразами, и мальчики слушали, и в туалете считали, хватит ли денег уплатить; они приходили снова и снова, эти трое. И когда Эрих стал заводить свои музыкальные часы, стоявшие на изразцовой печурке, а

все замолчали, опершись локтями на стол, тут мы с Еленой улыбнулись друг другу растроганно, бывает такая растроганность в легком подпитии, улыбнулись, как в школе за спиной учителя.

А потом мы иногда перебирались в другой погребок, на ту сторону улицы, всей гурьбой, и оба мальчика с нами. И Елена пела, голос у нее был на редкость паршивый, и даже бровью не повела, когда мы стали над ней хохотать.

А теперь я вовсе не знаю, когда все это кончилось. Просто все прошло. Сначала не стало наших резчиков, которые где-то недалеко латали какое-то историческое здание. Потом исчез Отто Клеммер. Хозяина положили в больницу. Племянник его, мясник, принял от него заведение и повел дело куда успешнее, чем Эрих: то есть доход вырос, и сразу все кончилось.

Елена — ну да, я слыхал, она по-прежнему там бывает с другими мальчиками, теперь с тремя. Мне не хочется снова все это увидеть. Может быть, только площадь перед вокзалом. И сейчас мне вспоминается, что там был пес, довольно большой и черный, я совсем про это забыл, и каждое утро, когда я проходил мимо, он все притворялся, что залает, и коротко, хрипло прокашливался и смотрел на меня серьезно и злобно, а я на ходу трепал его по морде, и он вилял хвостом.

Хозяин, наверно, умер. Елена? Ничего о ней не знаю. И если бы даже захотел узнать, все равно уже слишком поздно.

ПЬЕСА

Альберт Эрих Кнолле.
Это только имя. Такого человека нет. Давайте его придумаем.

Давайте скажем: у него есть руки, ноги, туловище и все прочие органы. Таким же образом посадим ему на плечи голову и нарисуем нос и рот.

А теперь оденем его в серый костюм и черные башмаки и вложим ему в руки шляпу. Пусть он ходит, как живой.

Вот он идет. Ну, что еще можно о нем сказать?

Походка у него подпрыгивающая.

Нет, он не хромает, просто шаги у него то короче, то длиннее. Может быть, оттого, что он задумался.

Этот человек в один прекрасный день уходит из своей семьи, чтобы написать пьесу для театра, и возвращается снова, ничего не написав...

Что это за пьесу он задумал и почему он ее не написал?

Пьеса должна была называться «Авария». Пьеса об одном заводе. Критическая пьеса.

И наш друг Кнолле дал себя убедить в том, что его критика имеет разрушительный характер.

Итак, Кнолле: без пьесы и в раздумьях. В тени деревьев, которые мы парочно для него придумали только что, такие деревья с темно-зеленой листвой и кругло подстриженной кроной.

Давайте с ним заговорим и первым делом скажем:

— Добрый день, господин Кнолле.

А потом мы скажем:

— Как вам живется, господин Кнолле?

И наконец:

— Ну ответьте же что-нибудь.

Теперь Кнолле открыл рот.

— Моя пьеса, — говорит он.

Тут мы узнаем все, что нам с вами уже известно.

Кнолле продолжает:

— Знаете, я очень одинок.

Мы с ним не согласны. У Кнолле есть работа, он служит в издательстве. У него есть семья, с которой он ест, спит, музицирует, и друзья, с которыми он пьет. Пусть он объяснит, что он имеет в виду.

Тогда он начинает опять про свою пьесу. Он говорит:

— Я понял, что моя критика имеет разрушительный характер. Что же мне теперь делать?

— Да ничего.

— А как же быть с пьесой?

— Писать дальше.

— Но ведь я понял...

— Все равно попробуйте!

Кнолле говорит:

— Да.

Он снова уходит из семьи, пишет, начинает уже третий акт, идет в театр и отдает свою пьесу.

Через две недели ведающий репертуаром некий доктор философии фон Пешке говорит ему, что пьеса весьма выразительна и художественно изобразительна, но отличается «идейной незрелостью».

Он же любит зрелость.

Тут мы пришли к тому же, с чего начали, но продвинулись все-таки дальше, до третьего акта. И мы велим Кнолле закончить пьесу.

Теперь пьеса готова и называется «Никаких аварий!». Кнолле осознал свои ошибки и придал своей критике глубоко созидательный характер.

Явление или событие, казалось бы, достойное критики, оказалось положительным по своей сути. Герой заблуждался. Его заблуждение подробно разъясняется, истина торжествует.

Такие пьесы ставят. Актеры выдерживают их до конца. И Кнолле весь вечер сидит в театре, а семья его осталась дома.

Теперь мы придумали нашего Кнолле. Пусть он сам решает, как ему жить дальше.

ТЕМНО, МАЛО СВЕТА

Луна всегда луна, — говорю я.

— Тебе виднее, — говорит моя жена.

— Нет, не думаю, — говорю я.

— Тогда выключи, пожалуйста, свет, — говорит моя жена и поправляет на подоконнике подушку.

Мы смотрим вниз на лежащую в темноте улицу. Что-то случилось с газоснабжением или газопроводом, и уличные фонари не горят. У нас здесь газовое освещение. И вот мы видим: мимо нашего дома идет известный похититель фонарей и в каждой руке несет по четыре красных фонаря.

— Разве это разрешается? — говорит моя жена с сомнением в голосе, а я, не расположенный к сомнениям, попросту ей отвечаю:

— Луна всегда луна.

И на сегодня довольно.

— Забыла, что я хотела сказать, — говорит моя жена.

Потом мы ложимся в постель. Но эта темнота на улице не выходит у меня из головы.

Лежу и все думаю. С наступлением темноты улица стихает. Спокойная улица в стороне от магистрали. Автомобили ездят только по главной улице, в нескольких сотнях метров от нас, там же проходят и трамвай и надземная дорога. Там же автобусы. Раньше здесь было много магазинов, больше, чем на главной улице, которая считалась аристократической. Теперь остались два-три мебельных магазина да антикварные лавки, переименованные в продовольственные, и шесть или семь пивных. Вымершая улица. Раньше чего здесь только не было. Есть о чем вспомнить. А теперь?

Мы с этой улицей не расстанемся. Но две-три квартиры в нашем доме уже пустуют. Да и кому придет охота сюда ехать? Я и сам, наверно, на это не решился бы. Правда, наши лавки и подвалы, где раньше хранили овощи или уголь, теперь не в счет. Там теперь живут какие-то художники по три или четыре недели, днем их вовсе не увидишь, разве что вечером в Охотничьем домике у Арно. Люди утонченные, песен они не поют. И дружат с тем, кто крадет фонари.

Они когда-нибудь все непременно прославятся, мы еще увидим это своими глазами.

«А, этот, я его знаю, — так скажем мы когда-нибудь, стоя перед картиной в городской галерее, — он жил в моем souterrain *».

Все это не дает мне покоя. Время от времени жена просыпается. Должно быть, я нечаянно застонал.

Она всегда просыпается сразу. Словно от толчка, быстро открывает глаза и уже совсем не спит.

— Знаешь что, — говорит моя жена. Но это вовсе не значит, что она хочет поговорить.

---

* Подвале *(франц.)*

Тогда я начинаю ей рассказывать обо всем, что меня сейчас занимает.

— В Финляндии, — говорю я ей, — не жизнь, а малина. Мой друг П. рассказывал недавно, что покойный Силланпяя — ты о нем слыхала? Я прочел одну его книгу, кстати, очень хорошую, — итак, покойный Силланпяя, отправляясь летом отдыхать, как мне недавно рассказывал мой друг П., ехал непременно в трех каретах, в первой он сам с чадами и домочадцами, во второй — белье, посуда и прочее, а третья доверху полна пивом.

— Твой друг П., — говорит моя жена, — сидит сейчас в Охотничьем домике. — И с этими словами она снова засыпает.

Я в постели у себя дома, а мой друг П. наверняка сидит сейчас перед своим медвежьим чучелом. Туда, возможно, заглянул и похититель фонарей. Интересно, куда он девает все эти краденые фонари?

Конечно, и без фонарей ничего не случится, ведь на машинах тут у нас не ездят. Если пьяные споткнутся о груду кирпичей или упадут в одну из ям, вырытых для починки труб, что ж, у них есть такие ангелы-хранители, с крыльями за спиной, которые им помогут и встать и выбраться оттуда.

Кальсоны, рубашка, брюки, носки, ботинки, пиджак — все на своем месте. Галстук на спинке стула. Тихо закрою дверь. Как будто я иду в туалет на лестничную площадку.

На улице и правда темно. В высоких домах ни огонька, все подъезды заперты. В доме напротив на пятом этаже открыто одно окно и в мансарде, на чердаке, тоже. Везде тьма. На небе, я только сейчас это

заметил, видны звезды: Большая Медведица или, может быть, Кассиопея.

Но от этого ничуть не светлей. И месяц зашел.

Двери таких охотничьих домиков выходят, как известно, прямо на улицу. Там сидят мой друг П. и похититель фонарей, художники и разные другие господа, в общем немало народу.

— Доброе утро, господин Фенске, — говорит Арно, хотя сейчас уже одиннадцать вечера, и я замечаю, что на улице уже темно, и друг П. слегка отодвигает свой стул, чтобы дать мне место.

Что ж, выпьем стаканчик-другой. Потихоньку-полегоньку, куда торопиться? А чего тут только не узнаешь за столом! Беседы.

Когда люди начинают рассказывать — водители трамвая, музыканты, уж не говорю о парикмахерах, — всегда удивляешься: какая острота зрения и какие глубокие прозрения по части истории и морали. Пусть говорят, если пришла охота, пусть говорят без оглядки. Правда, тогда не останется слушателей, все будут говорить,— кому не охота высказаться? — и станет, наверное, шумновато, но что из этого? Здесь и так не особенно тихо.

Вырви себе волос, если хочешь, и расскажи о том, что ты при этом чувствовал. А потом расскажи о том, что не так быстро делается и не так скоро забывается.

— На моей улице живет профессор Шпирох, — говорит какой-то господин за большим круглым столом. — Может быть, кто-нибудь из вас его знает. Уже старый, у него двадцать пять тысяч книг. Ворот всегда расстегнут, и вот такая седая грива. Двадцать пять тысяч книг! У него раньше тоже было двадцать пять тысяч, но те сгорели во время войны. Он был тогда препо-

давателем латыни в гимназии, знал всю латынь. Любую вокабулу любого классического автора. Например: elongavi трижды встречается у святого Антония, и все в таком духе.

Ну что ж, послушаем этого господина.

— Я вам уже сказал: он знал в точности, где что написано у латинских авторов, и притом еще, в каких изданиях. Правда, его всегда приходилось расспрашивать, он не любил ничем делиться, даже своими знаниями. И сам ничего не писал, только латинские стихи, в которых и слова и размеры были из Горация, только перетасованы по-другому. Так мне кажется. И книги, по-моему, у него пылились зря. Я пришел к нему в гости, когда ему стукнуло семьдесят пять. Я был у него в классе одним из самых скверных учеников, он терпел меня только из-за родителей, но теперь я для него лучше всех, потому что один я живу поблизости. В день рождения собралось немало гостей, вспоминали кайзеровский флот — зять Шпироха был капитаном корвета, — и потом эти господа забавляли друг друга непристойными латинскими стихами, по очереди. Я тем временем разыскал себе книжку, в которой рассказывалось о страданиях лютеран в эпоху Реформации. О страданиях католиков не было ни слова. Старинная книга. Валялась тут без дела, и читать ее было очень грустно, даже досадно. Но Шпирох встал, отобрал у меня книгу и сказал: «Это все ерунда. Тут недостает первого тома, подожди, пока я приобрету целиком все издание». Он даже и не взглянул на книгу. Между тем я нашел в ней записи от руки на полях, кажется, их сделали внуки пастора, который там упомянут, и рассказывалось в них о вещах пострашнее тех, что напечатаны в книге. И на обороте обложки

были написаны скорбные стихи, пожалуй, даже не написаны, а нарисованы. Он отобрал у меня книгу и сразу ее захлопнул.

— Ты что-то говорил про войну и большие потери?

— Ты имеешь в виду эти книги?

— Двадцать пять тысяч книг. Слушай-ка, это немало.

Господин, который все это рассказывал, насколько я помню, сказал, что книги пылились зря. Послушаем теперь другого господина. Он говорит:

— Я тоже пострадал в войну: в сорок четвертом году сгорела моя коллекция марок. Я недолго ею любовался — только во время отпуска. Этот альбом я привез из Франции; но лучше я все расскажу по порядку. На марше мы натолкнулись на группу беженцев, все гражданские, много стариков. Сидят на обочине. Мы очень торопились, но я сразу заметил среди них одного, он присел под деревом, на коленях — толстый альбом. Тогда я слабо разбирался в марках, но сразу смекнул, что коллекция очень ценная. После я попросил оценить ее, мое предположение подтвердилось. Француз все равно бы не смог сохранить альбом. Я ему пытался это объяснить, но он меня не понял.

— Где ему. А ты здорово говоришь по-французски. Я тогда тоже участвовал в наступлении. Очень было любопытно.

— Расскажи поподробнее.

— Знаешь, мне хотелось бы все это записать, я бы наговорил текст на магнитофон, как сейчас все это вижу. Некоторые сцены так и стоят перед глазами. Но это для начала. Потом надо будет все сгруппировать: сперва пейзаж, затем искусство, история...

— Вот и хорошо, я бы начал так: обстановка...

— Ну зачем же? Лучше начать с чего-нибудь совсем случайного, простого зрительного впечатления. Как в игре: сначала сквозь прорезь видишь одну какую-нибудь подробность, потом другую, пока внезапно не открывается вся панорама.

— Да, императорская панорама.

— Совершенно верно. Так эта игра и называлась. Ты, значит, тоже ее помнишь?

— Да, но книгу-то будет писать Герман. Пусть он и расскажет.

— Говорю вам: отдельные сцены. В таком примерно роде: асфальтированное шоссе, ни единого деревца. Рядом канал, пятнадцать метров ширины, недвижная гладь воды на плоской равнине, по которой едет грузовик. За ним облако пыли, оно медленно окутывает гостиницу у шоссе, так что в белом небе видны только верхушки садовых деревьев. Рядом с гостиницей несколько небольших домов. Грузовик останавливается, толчок, облако пыли сперва немного съеживается, потом по-кошачьи мягко ложится на шоссе. И под брезентом в грузовике вдруг слышатся голоса, вот это надо будет передать в книге как можно живее. Например, один голос спрашивает: «Ты взял крышку от моего котелка», а другой отвечает: «Нет. А будешь шуметь — по морде получишь». Там, значит, солдаты.

Тот, который это рассказывает, наверно, из Восточной Пруссии. Если я не ошибаюсь. Их ведь часто встречаешь теперь в Берлине.

— Солдаты, стало быть, вылезают из грузовика, — продолжает рассказчик, — во Франции, в 1940 году, и стоят посреди улицы, в полдень, в деревне, что за несколько километров от Кале. Тут унтер-офицер Барт подносит карту к своим очкам и заявляет, зло уставясь

на мутную воду: «Вот он, Ла-Манш. Такой широченный на карте, на самом деле жалкий отводной канал. Лужа мочи. Во всех газетах трубили, когда кто-то там его переплыл. Что и говорить, французы!»

Это и правда забавно. Здесь любят потолковать о войне. Все были молоды, в расцвете сил, кто тогда думал о геморрое? Кстати, я уже давно заприметил муху. Она медленно и упорно ползла по стакану, словно искала там свое законное место. Теперь она будто застыла. А до этого она так же невозмутимо разгуливала у донышка стакана по маленькой лужице пива. Однако история еще не кончилась.

— Солдат Шейфф из Кёльна, — говорит все тот же господин, — присел на мостки. Господи боже, канал от этого грязнее не станет, что бы вы там ни болтали. Что ему сделается? Канал как и все каналы, и секреты у него обыкновенные: тина, мертвые собаки и велосипедные рамы. А тот, другой канал — ему на вас наплевать, — покажет вам ненадолго другой берег, высокий и известково-белый, и тут же спрячет его в тумане.

«Шейфф, — говорит унтер-офицер Барт, — марш за мной. Вы должны подготовить квартиры, германские войска вступили в... Как называется эта дыра?»

«Кулонь», — отвечает Шейфф и встает.

На той стороне канала виден разрушенный дом, кусок фасада с пустым окном, в котором колышется клок гардины.

«Одеколонь, — говорит унтер-офицер Барт. — Я чувствую себя настоящим французом. А как это будет по-французски, Шейфф?»

— Обязательно напиши, Герман, у тебя здорово получается, прямо словно вижу все это.

— Я уже придумал название: Веселая Франция.

— Значит, верно о ней говорят?

— Вполне.

Не вечно же, думаю я, слушать нам этого писателя. Послушаем лучше художников. Или вот господина в том углу; тоже родом из Восточной Пруссии. В Берлине их, как я уже сказал, немало.

— Это было еще на нашей холодной родине.

— Да, много воды утекло... Теперь-то вы где?

— Ясное дело, в Берлине. А с сорок седьмого года был в Везеле, торговал обувью. Недавно на слете землячества...

— Да хватит про эти слеты.

— Погодите, не затыкайте мне рта. На слете, говорю я вам, моя жена сломала себе ногу. Чего она только не делала, никак не заживает! И я ей тогда говорю: «Поедем в Люнебургскую степь, там есть один пастух, замечательный костоправ». А пастух тот даже не взглянул на перелом, а все на ортопедический башмак смотрит, который я для нее заказал. И все выспрашивает меня, что это за мастер. И вот что я вам расскажу: вернулись мы, и я с этим мастером открыл дело. Земляк, покупай у земляка! — девиз нашей фирмы. Не слыхали?

Не очень-то весело слушать этих людей. Но ведь не все же такой вздор мелют.

— Да будет вам, — говорит похититель фонарей. Ему только что рассказали, что доцент из театрального института, тот самый, длинноволосый, каждое утро ездит в университет на велосипеде. Студенты приезжают на собственных машинах, а он на велосипеде. Наверно, хотели что-нибудь особенное рассказать, а получилось просто смешно.

Фонарщик говорит опять:

— Да будет вам.

Значит, не каждый мелет вздор. Фонарщик, например, не мелет, да и этот вот новый господин.

— Я только что с кладбища. Там нынче заперто.

Только что? А сам, наверное, уже давненько тут сидит. Ну пусть расскажет по порядку.

— Приезжает наша похоронная машина, мужчины несут гроб к приемной, но там нет ни души, дверь заперта, и на ней записка: «Все на экскурсии». Я был там по другому делу. Ну и что ж, поругались, но делать-то нечего, уехали обратно вместе с гробом, и я с ними. Из пивной все время кому-нибудь из нас приходилось выходить — столько детишек: ведь не каждый день увидишь гроб. Вот я вас и спрашиваю: какое они имеют право запирать кладбище?

Вот что рассказывает этот господин, стоя в дверях Охотничьего домика: это у него за нынешний вечер уже четвертая пивная, как он сам говорит. Он верно говорит. Мне тоже непонятно, какое они имеют право запирать. Такая же история, как у нас с газом. Надо ему сказать, что я вполне с ним согласен.

Я встаю из-за стола, но его уже нет.

Меня еще задержал Арно из-за моего друга П., который уснул прямо за столом. Славный человек наш П.

Я выхожу на улицу, но господина уже нет. И улица темна.

Отсюда всего пять шагов до дому. В каком-то подъезде я вижу лампы, внизу на лестничной клетке, я их раньше совсем не заметил, они все еще горят.

А улица темная. Груду камней и землю, набросанную возле вырытых ям, не освещает ни один фонарь. Улица, вдоль которой я сейчас смотрю, мимо высоких черных фасадов. Что ж, она вымирает. Но не стоит пу-

гаться, ведь жители тут еще есть. И еще пивные и продуктовые лавки. И художники. Чуть не забыл мебельные магазины. Я ведь давно тут живу. Многое изменилось, это точно, но я все здесь знаю. Вот хотя бы лестницу. И в темноте ни на одной ступеньке я не оступлюсь, и нет лестничной площадки, на которой мои ноги сами собой не описали бы дугу и поворот к следующему пролету. В темноте. Мне тут не надо света.

А теперь снова пиджак, башмаки, носки, брюки, рубашка, кальсоны. Все повесить на прежнее место. Я стою с минуту на одной ноге, но мысли мои в разброде.

Мысли о темноте. И о свете.

Газ, красные фонари, луна, которая давно зашла. Все остальные светильники тут электрические, так что нечего бояться темноты: включил, выключил, вот и все. И над нашей длинной улицей горят звезды.

Моя жена спокойно спит. И я представляю себе, что вот сейчас она проснется — сразу, внезапно. И думаю, о чем бы я ей рассказал. Что на улице темно. Только над головой горят несколько звезд. Но они совсем не светят, по крайней мере нам. И что особенного случилось бы, если бы совсем не было звезд?

— Ну что, говори же.

— Темнота не была бы темнее.

— Конечно, нет.

Вот там, на небе, было бы все по-другому. Там и сейчас так, будто все звезды погасли. Значит, темнее и там не стало бы. Было бы по-другому, но я не знаю, как именно.

ЗАБРОШЕН В ЧУЖУЮ СТОЛИЦУ

По ночному городу идешь, как по неведомой стране. Там вода, за нею свет, но слишком много света: словно в тумане видны огни кочевого лагеря. Или это пожар, только небо совсем не красное. Но вода видна, ровная и черная гладь, за нею гора: высокогорное плато. Подойди ближе, окажется, что плато — это замок, огромный замок. Высокие ворота со стрельчатыми арками. Внутренний двор, как чан с водою, доверху налит тишиной. Фигуры, расставленные равномерно вдоль всей стены по двору, кажутся фарфоровыми: в их мундирах белый цвет сейчас всего заметнее.

Подойдем еще ближе, подступим к одной из фигур.

Часовой в белых гетрах, белые краги, грудь тоже в белом, белый шлем. Ни на один вопрос нет ответа, и сам не шелохнется. Вдруг из темного угла шаги: смена караула, восемь или десять таких же солдат.

Подойди к разводящему шага на три, тогда и он сделает три шага тебе навстречу. Спроси, где сейчас его король, и он ответит: «Его величества нет дома». Тогда ты снова выйдешь за ворота, небо черно, и толь-

ко там, над огнями, за водной гладью оно чуть светлеет.

Переулки ведут вверх и вниз. Узкие переходы, как шлюзы, небольшие лавки в нижних этажах освещены, окна высоких фасадов закрыты, темны. Но они вовсе не кажутся углублениями в стене, они ясно видны тут же на плоскости. Церковные здания скрыты за кустами и решетками, так что легко пройти мимо. Крутые улицы, по которым сквозит ветер вверх до макушки холма и выше, взлетая на самые кровли.

И люди на улицах редкие прохожие, с неясной речью. Свет из полуоткрытой двери «Золотого мира» *. Под этим домом погребок, там, внизу, пил вино Бельман, здесь же, где ты стоишь, в этом переулке он умер.

Брось в воздух шляпу, она вернется к тебе в руки. Сейчас через маленькую площадь кто-то пройдет, должно быть матрос, перелезет через цепь, ограждающую четырехугольник со скамейками и деревьями в кадках, остановится перед рестораном, там, где начинаются освещенные окна и где под двойной дверью висит штора, просто остановится, заговорит с прохожим в мягкой шляпе, бросит короткую фразу, услышит ответ, беглый, как взмах руки.

Из неосвещенной двери выходят две дамы. Снимать шляпу не подобает, заговорить нельзя. Ночь.

За углом, где высокий фасад резко заворачивает, стоит мощная колонна, блестящая, как эмаль зеленоватого цвета, под круглой крышей, похожей на крышку сахарницы, с прорезями вместо окон и разного рода

---

* «Золотой мир» — известный с XVIII века артистический погребок в Стокгольме, где постоянно бывал знаменитый поэт Швеции Карл Михаэль Бельман (1740—1795).

узорами: общественный писсуар на одну персону, обелиск одиночества и мало ли что еще можно сказать.

Матрос, перебежавший площадь, идет вниз по крутой улице. В просвете между угловыми домами, внизу, чередуется желтый и белый свет — автомобили, они появляются и исчезают. Едут под гору.

Это одна из главных улиц, но через две-три сотни шагов начинается лес. Среди старых деревьев виднеется здание, парковые дорожки сходятся в одном месте, и кажется, что прямо под густой листвой висят ледяные шары. Каждый из них освещает крону дерева над собою, словно зеленый купол. Под ними видны матросские блузы.

Я сам не знаю, что я значу в этом городе. Случайный приезжий здесь, всего на несколько дней. Который снова уедет и увезет с собой что-нибудь, быть может воспоминанье об одной картине французской школы: сцена в саду с коричнево-серебристой листвой и гитарой.

Не знаю, что я ищу здесь.

Днем здесь белый свет, который медленной поступью движется по озерной воде. Я поднимаю ногу, чтобы взойти на деревянный мост. Старая женщина, хрупкая, с голосом, похожим на звук деревянного инструмента, говорит: «Приезжайте еще раз», — и обнимает меня на прощанье.

Ясный день. Подозвать такси, которое ждет у цветочного лотка. Будничные разговоры, надо условиться о встречах, о распорядке дня по телефону.

Идешь по деревянному мосту. Тонкий каблучок дамы застрял меж двух деревянных брусьев. Желанный повод отбросить сигарету прямо в воду, наклониться, проявить учтивость, бегло взглянуть снизу вверх на юбку, жакет, плетеную шляпку.

Здания на том берегу, расставленные, как ступени на зеленой горе, принадлежат адмиралтейству и стали музеем. Старинные стройные пушечки фланкируют каждую дверь. Флаг на высокой мачте, установка для сигнализации. Я ведь отсюда уеду.

Я говорил тебе: «Нехорошо, что я сюда приехал. Для меня...» Твое напускное сомненье меня в этом вполне убедило. Попрощаемся ранним утром в холле отеля, лучше до завтрака, пока не подан грейпфрутовый сок. Больше не о чем говорить.

Вечер на дорожках парка перед маленьким замком, в пригороде. Тусклая вода и птицы. Широкий ров с лебедями под кровлей листвы. Все это словно свеча, которую кто-то, невидимый тебе, проносит мимо.

Павильоны за кустами освещены. Как давно существует то, что было сегодня, вчера, несколько лет назад. Матрос пробежал вниз по улице. Нельзя вернуться к тому, чего словно и не было: к разговору у городской стены, к игре в четыре руки, к двум-трем часам, проведенным над рукописью, к картинам, которые показывают друзьям, к обещаниям встречи, которая не состоится никогда.

Но осталось сказанное слово, живая речь. Дыханье, зренье, слух. Кровь, поющая в жилах. Возможно ли возвращение? К тому, что было? И ушло, опередив тебя на несколько шагов?

Догнать.

Догнать.

Сейчас же.

Немедленно.

V

ЛИТОВСКИЕ КЛАВИРЫ

Глава I

Длинный, сухопарый, прямой как жердь, ноги-ходули, а шагает мелкими шажками, размахивает вовсю левой рукой, зато в правой — шляпа, лицо длинное, а выражения не понять, отсутствующее оно, равнодушное, — это Гавен выходит на улицу из боковой двери театра. Ясное утро. В дверях вырастает мастер сцены Швилюс и, сообщая давно и точно известный факт, отпускает вдогонку долговязому концертмейстеру:

— И не видит ничего, и не слышит ничего, скрипку в руки, уткнулся в ноты — артист! — а там хоть трава не расти, — только репетиция кончится, его и след простыл.

Гавен, концертмейстер, или, как его до сих пор называют, Первая скрипка (некогда глава квартета смычковых, пользовавшегося весьма доброй славой — в свое время) дошел до перекрестка. Поперечная улица называется Философендамм и ведет к целлюлозной фабрике. Пожалуй, лучше бы свернуть — шумно здесь, вон и фабричные ворота, шум, как сегодня в

городском театре: опера «Мариенбургский кузнец», он исполнял скрипичную партию.

Профессор Фойгт забыл тетради гимназистов в учительской. Он бы и не заметил этого, да чувствует: идти легко. Он не пугается, наоборот, испытывает облегчение — легко идти, отчего легко — известно, так пойдем и дальше налегке; по всем карманам у него распиханы бумажки, к счастью, на них записано все, что ему сейчас нужно, не так уж мало: заметки по этимологии, списки, цитаты. Костюм он носит — словно шкаф на себе таскает, переодеться ему — все равно что учет произвести: просмотреть всю писанину, если надо — ввести новую систему, забраковать что-то и отложить в сторону для переписки, и тому подобное. Ничего не скажешь: с полными карманами легко идти, не идти — лететь.

— Господин Гавен, — говорит Фойгт. Он уже давно заметил господина Первую скрипку и направляется к нему своей летящей походкой.

— Господин Фойгт, — говорит Гавен изысканным тоном ученого (само собой разумеется, титулы и звания здесь неуместны), — к вашим услугам...

— Опера, — говорит Фойгт; в руке у него появляется длинный исписанный лист бумаги — нетрудно заметить, он склеен из трех листов. Но почерк такой тонкий, что сразу и не увидишь на этакой белизне.

— Итак, опера, — говорит Гавен, склонив голову набок, словно прислушивается.

Теперь идут они рядом вверх по улице. Широкая улица. На ней — горшечный базар: сегодня суббота. Стало быть, горшки, глиняные горшки; кувшины, вазы, цветочные горшки, миски, кружки — обливные, зеленые и коричневые, — товар хрупкий, — это тебе

не лошадь, не картошка, требует другого обхождения; рынок спокойный, движения размеренные, потому что осторожные, и крику мало; спокойные разговоры, спокойный обмен словами. Люди безусловно достойные: дочери и жены горшечников. Да и сами мужчины. Не перекупщики, деревенские мастера продают свой товар. Их речь слегка сдобрена профессиональными словечками да легкой улыбкой, так художник показывает картины коллекционеру, а тот смотрит на картину и видит свободное пока еще место на стене в своем доме.

Тут, сами понимаете, важно, чтобы товар пришелся по вкусу женщинам; горшки покупают преимущественно для засолки огурцов, для варенья и для сала топленого. Можно и поторговаться, в меру собственного или чужого опыта; платок козырьком над глазами — у горшечницы, шляпка, сдвинутая на лоб, — у покупательницы; очень уж солнце светит, время подходит к полудню.

Свет задерживается на круглобоких горшках, на вазе с бледной зеленой поливой, на синем кувшине с узором из кружочков. Как на домах, на той стороне, на желтоватых оштукатуренных фасадах, на равномерно прорезанных окнах, которые кажутся пустыми. Предполуденный свет, одиннадцатичасовой свет, пыльно-желтый, еще лишенный послеполуденной усталости, субботний.

— Господин Гавен, — говорит профессор Фойгт. — Я все время думаю об этом.

— Нисколько не сомневаюсь, — говорит Первая скрипка Гавен. — А эта бумага (Фойгт все размахивает своим длинным листом), эта бумага, простите,

ваш текст? — Последние слова сказаны с некоторым сомнением.

— Нет, нет, не совсем! — Профессор Фойгт отмахивается от подобного предположения свободной левой рукой и бумагой тоже. — Конспект, с первого по третий акт, абсолютное дилетантство, разумеется, ну, может быть, слегка, самую малость подучился на драматургических опытах моего уважаемого коллеги Сторостаса, все-таки...

Но в чем же дело?

— Дилетантами мы были и будем, — скромно замечает Гавен.

Наверное, слишком уж скромно, потому что Фойгт говорит:

— Ладно, ладно. — Но бумагу свою разглаживает — разложил на левой руке и разглаживает.

— Прежде всего название, — говорит Фойгт, — может быть, так, совсем просто: «Певец своего народа».

— Следовательно, баритон, — вставляет Гавен.

Фойгт думал — тенор, дабы подчеркнуть молодость героя, но, впрочем, ведь потом он — зрелый человек, это вполне убедительно. Примерно четырнадцать действующих лиц и, конечно, хор; единство действия вряд ли возможно, достаточно вспомнить биографию: Лаздиненяй — деревня, Кенигсберг — город, Сталупяны — маленький городок, Тольминкемис — деревня *.

Конечно, они уже говорили об этом и прежде не раз. Гавен даже пробовал наигрывать нечто вроде увертюры, вариации на темы народных песен, круговые мелодии которых оканчивались на терции или верхней

---

* Названия населенных пунктов и городов, где проходила жизнь великого литовского поэта К. Донелайтиса.

квинте с трехсложными затактами, тактами и модуляциями. У него уже готова ария на тему одного из писем: «Ах, если бы и сейчас я мог делать барометры!» — прекрасная жалоба старика. У старика дрожат руки — это результат ожесточенной борьбы с амтманом Руигом то за письменным столом, то с проповеднической кафедры и все эта ревизия церковных владений. А вот сейчас в голове Гавена зазвучал дуэт двух голодных студентов: о бесплатном обеде и ночлеге в попечительстве. Его буквально осенило здесь, на солнце, на улице, как раз там, где кончается горшечный базар и начинается молочный, который уже заметно опустел, но шума здесь хватает, и сыра, знаменитого местного сыра тоже. Тут и нас осеняет.

О чем же речь?

Об опере.

— Просто удивительно, как все это получилось, — начинает Фойгт.

Давайте-ка послушаем, что он рассказывает; а впрочем, не будем терять времени, скажем сразу: речь идет о Кристиане Донелайтисе, о литовском поэте, значит, лучше сказать о Кристионасе Донелайтисе. Он был пастором в Тольминкемисе двести лет назад, а кроме того, механиком и шлифовальщиком линз, он умел делать термометры и барометры, сделал три фортепиано: два рояля и одно пианино, писал идиллии литовским гекзаметром еще до Клопштока и на той же метрической основе: повышение голоса на ударных слогах; но совсем другие — о людях: крестьянках, служанках, и о сельских работах, идиллии без пастухов и пастушек, написанные с любовью, ну, мы уже говорили — к кому. Того и гляди кто-нибудь рассердится, как начнешь

повторять все сначала. Тем более что профессор Фойгт говорит:

— Разрешите, господин Гавен, предложить...

Уж он-то может предложить господину Гавену то, что сейчас последует, ведь он холостяк, человек, по общему мнению, свободный, а господин Гавен несколько лет как овдовел, он и готовит себе сам, только прачку пускает в дом, а профессор — тот держит экономку, может себе позволить, но ночует она, разумеется, у себя дома.

— Если вы не возражаете, пообедаем у меня. — Это и есть его предложение, а дальше следует: — В два часа отходит поезд узкоколейки. Я, кажется, уже говорил про учителя Пошку, поедем к нему.

Отказ: не от поездки — сегодня вечером в театре драматический спектакль, — а от обеда. Фойгт тем временем продолжает:

— Он все равно будет ждать меня. — Убеждающая скороговорка Фойгта, они быстро приходят к соглашению.

Итак, обед. Идти недалеко: через овощной базар, разумеется, совсем уже пустой, через рыбный базар — о нем напоминают только мятая бумага, две-три камышовые плетенки да доски от ящиков, мимо нескольких удивительно красивых домов — но сейчас нет времени любоваться ими; взгляд на часы на ратуше — вот и конец улицы, предпоследний дом перед церковью, узкая лестница, белая с голубым. Квартира Фойгта, книги и книги...

— Господин Фойгт, — говорит Гавен, — этот учитель Пошка, я слышал о нем: еще один собиратель песен, но их собрано уже более тысячи, взять хотя бы собрание Юшки...

— Тысяча или две; музыкальный народ эти литовцы! Юшка собирал в своем церковном приходе и вокруг. Пошка собирает здесь, в своей деревне. Кстати, интересно: как раз на диалектальной границе между тильзитским и рагнитским говорами.

— Да, туда бы я поехал, — говорит Гавен медленно, размышляя: знает он этих профессоров, докторов, филологов, этнологов, этнографов, специалистов по сравнительному изучению сказок, этимологов и членов этого Немецко-литовского общества, но, с другой стороны, он знает литовские песни — дайны, они, казалось бы, вне всяких критериев, они обезоруживают открытым нарушением всех правил и тем не менее отвечают всем критериям. Гавен говорит осторожно: — Я слышал, он литовец, учитель Пошка. — И добавляет порядка ради: — Учительствует в Вилькишкяй.

— Конечно, — говорит Фойгт, — вообще-то он родился здесь, на Грабенштрассе, но вы же сами знаете: Великая история, границы вплоть до Черного моря, Витаутас Великий * и Ягелло **: польская история только ответвление литовской, во всяком случае, в те времена, да вы же сами все это слышали. Ничто не почитается и не культивируется так горячо, как утраченное прошлое.

---

* Витаутас, или Витовт (1350—1430), — великий князь литовский, в период княжения которого (1392—1430) Литва достигла большого политического могущества и единства и при котором в 1410 году объединенные силы литовского, русского и польского народов разгромили Тевтонский орден в знаменитой битве при Грюнвальде.

** Ягелло, или Ягайло (ок. 1384—1434) — великий князь литовский, ставший впоследствии польским королем под именем Владислава II и положивший начало польско-литовской династии, участник Грюнвальдской битвы (1410).

— Все эти союзы, — говорит Гавен. — Союз Витаутаса, Союз таутининков *.

— Ну да, вроде как у нас Союз королевы Луизы, Патриотический союз германских женщин. — Фойгт пропускает дам вперед — он мог бы назвать и другие союзы и еще кое-что сейчас, в тысяча девятьсот тридцать шестом году, тем более что вышеназванные на территории рейха уже, собственно говоря, не существуют, а сохранились только в этой Мемельской области, которая была отдана Литве, или, как пишется в газете, что лежит на столе рядом с салфеткой: «До сих пор еще не может прибегнуть к защите рейха».

Фойгт отодвигает ее в сторону, эту газету, простонапросто отбрасывает, и придвигает тарелку. Входит Мария, по мужу Кронерт: она вносит суп из зеленой фасоли с бараниной.

— По-моему, сюда следует класть тмин, — мрачно говорит Гавен, но это означает только, что он погрузился в свои мысли.

И Мария отвечает, лукаво прищуривая веселые глаза:

— Знаю, знаю, я положила.

— Поздно положила, — говорит Гавен, — а надо варить с тмином.

— Верно, он придает аромат, — говорит Мария.

Вот и весь разговор.

Итак, опера. И школьный учитель Пошка, этот собиратель литовских песен, он учит детей из Вилькишкяй и Моцишкяй, Можурмачай и Керкутвечай языку,

---

* Союз Витаутаса, Союз таутининков — литовские националистические фашиствующие союзы.

на котором большинство из них и так говорит дома, но только дома; в школе, как и в церкви, — немецкий язык, потому что школа при церкви и должна во всем следовать ей.

Обо всем этом Гавен уже знает от Фойгта: учитель, как утверждает Фойгт, литовец, но не такой, как те, из Союза таутининков.

— Я имею в виду его образ мыслей. Конечно, национальный патриотизм, — поясняет Фойгт, — как и следует быть. Защитник народных традиций, лингвист по призванью.

Гавен еще не убежден. Он знает этот тон Немецко-литовского общества, у которого есть свое прошлое, весьма славное филологическое прошлое в предыдущем столетии, с корнями в предпредыдущем и даже еще глубже, но сейчас это общество существует только в воображении профессора Фойгта, профессора Сторостаса, профессора Куршата, тайного советника Бенценбергера и других господ или в их трудах, если они уже умерли, что, по существу, ничего не меняет.

И он знает, что за этим неизбежно последуют слова: безвозвратно гибнущая народная традиция, которую очень жаль, ее вытеснение идет теперь с юга на север; вымирающий язык необычайной красоты, величайшие богатства народной поэзии, уже Гёте и Гердер... Подобными словами эти господа облекают дело; впрочем, дело — сказано слишком сильно, точнее, свое увлечение... Все это он знает: народ, деятельный и приветливый, которому, однако, приписывают своеобразный фатализм — в каждом народоведческом сочинении по школьной программе, в квартальных обозрениях, в старопрусских ежемесячниках, в отчетах о за-

седаниях Общества прусских древностей... Знать-то он знает, но убежден ли он в этом?

Но как скажешь такое здесь, в этой комнате, перед этими книгами, глядя на эти картины: вот гора Рамбинас *, иначе Энгельсберг или Шлоссберг, ее вполне можно узнать, на переднем плане, как всегда, молодые люди сидят и поют или танцуют, наряды их тонко сочетаются по цвету — картины Гизевичуса, весьма почтенного художника, чей портрет висит между портретами не менее почтенного Резы и столь же почтенного Пассаржа, что возвращает нас снова к Донелайтису — оба переводили его на немецкий язык, на вполне хороший немецкий язык, и, несомненно, с любовью. Возвращает к Донелайтису, и не только к нему одному.

«Поедем сами, — думает Гавен, — посмотрим своими глазами», — а вслух говорит:

— Хорошая фасоль.

А Фойгт, интересно, о чем он думал все это время? Конечно, об опере. Фойгт отвечает дружелюбно:

— Да.

Появляется Мария — не округлая, длинноногая, вошедшая в поговорку красота, которой так богаты оба берега Немана, а по-балтийски сухая, скорее эстонского типа, с плоской грудью и выступающим животом. Как говорят в народе: живот — что полка на стене, хоть лампу ставь; вообще говорят, не имея в виду Марию Кронерт.

— Ну что ж, пора, господин Гавен.

---

* Гора Рамбинас — священная гора в древней литовской мифологии, находится у начала дельты Немана. В старину была местом поклонения литовским языческим богам у священного камня. С Рамбинасом связано много народных преданий и поверий.

Профессор Фойгт подымается и рассовывает по карманам еще несколько бумажек в дополнение к тем, что лежат уже там в полном порядке. Склеенная из трех листов полоса, та самая, скатывается и находит свое место в жилетном кармане. Фойгт подходит к барометру, который висит между окнами, и постукивает по стеклу, но барометр показывает то, что он показывает: ясно. Теперь еще только шляпа с широкими полями и еще палка.

Покинутая комната. Только что здесь были люди, они не очень-то много двигались, не ходили из угла в угол, но они все же были здесь, сидели на вполне солидных стульях, думали и говорили. А вот теперь и Мария Кронерт ушла, и кухня тоже покинута, все в полном порядке, в кладовке стоит глиняная кринка с кильками в уксусном маринаде с лавровым листом и зернышками перца. Пиво принесено и поставлено наготове, у самой двери. Квартира покинута. Занавески на окнах задернуты. Двери заперты.

Но все еще здесь. Все на своих местах. Книги. Стол. Плетеная лоскутная дорожка на полу. Ее связала мать Фойгта, жена кемерера в имении амтмана Коппа в Морицкемисе. Давно.

У мальчика светлая голова, он нравится школьному инспектору округа пастору Коннору, советник по делам школы Томнау привозит его в город, теперь он вольнослушатель, потом стипендиат: в Кенигсберге — в трех домах его кормят бесплатно, — потом Попечительство для литовских студентов, основанное сто пятьдесят лет назад, дает ему возможность получить образование — разумеется, теологическое. Несмотря на то, что он не литовец. В последние десятилетия многое изменилось, но название попечительства осталось преж-

ним. В занятиях он следует примеру почтенного Резы родом из деревни Карвайчяй на Куршской косе; засыпанная когда-то песком, сожранная блуждающей дюной, она вновь показалась теперь: можно разглядеть следы крестьянских дворов там, где были столбы, заборы или могильные кресты, земля потемнее, коричневатая.

Итак, квартира покинута, она пуста. Детская площадка без детей, паутина без паука — и то и другое сразу. Комната покинута, комната пуста.

А те, кто ее покинул, Фойгт и его гость Гавен, стоят на площади.

Они спустились по лестнице. Внизу, на первом этаже, в самом низу, значит, — трактир, но высшего класса; сейчас здесь, как принято говорить, имеет быть отмечен, или, попросту говоря, празднуется, чей-то юбилей, как легко установить по песням, по игре на пианино.

Маленькое пианино, высокого тона, три педали, их тяги испорчены — следовательно, нажимать на них бесполезно. А что играли?

Надо сообразить, ведь Фойгт и Гавен стоят уже на станции узкоколейки — для них встречи на этом юбилее уже позади. Дайте-ка подумать, дайте вспомнить, до отхода поезда осталось еще четыре минуты.

Они идут по площади Флетчерплатц, у здания немецкой таможни стоит поезд узкоколейки, два вагончика. Еще с середины площади Фойгт кричит кондуктору:

— Вы уже свистели, господин Штейнер?

И Штейнер кричит в ответ:

— Да.

Фойгт снова:

— Давно?

Штейнер:

— Да нет, только что.

А справа, от гостиницы Берга, подходит господин Лаупихлер — насосы и трубы, — а в поезде сидят Крауледат из союза учителей с супругой и Винклер — продовольственные товары и спиртные напитки, — тоже с супругой, и господин Крауледат приветствует Фойгта словами: «Господин сослуживец», а Винклер, вскинув навстречу входящим руку, словами:

— Хороша погодка!

Но мы ведь спрашивали, что играли. Помните? И кто играл?

Играл Элизат, седой, тоже долговязый и тощий, как хлыст, прежде он был дирижером — его и сейчас все так называют: господин дирижер. Это он играет в трактире (четыре пятьдесят в час), аккомпанирует и поет со всеми: «Там, где волны Балтийского моря», и «Летели пять диких лебедей», и «Анхен из Тарау», как говорится, «песни родины», а как началось настоящее веселье: «Что за чудо, что за великое чудо!» Тут-то он вдруг возьми да запой подлинные слова «O tai divai» — такое понравится далеко не всякому; а только стало по-настоящему уютно, и хор затянул: «Ах, юные годы, юные годы!», он, старый и усталый, вдруг опять нечаянно запел литовскую песню: «Kur bega Szeszupe». Да что ж тут плохого, ведь речка Шешупе протекает здесь, на немецкой стороне, что не уставал повторять обер-секретарь Никель потом, когда все уже было кончено, и Элизата унесли за угол, к санитарному советнику Пику. Но ассистент Ленувайт с великой внутренней убежденностью, подкрепленной, как ни странно,

пивом городского акционерного общества, подошел в своих сапогах — уже три года, как он носил сапоги, — подошел сзади к музыканту и трахнул его по голове пол-литровой пивной кружкой, и начал говорить речь над поникшим телом, такую, как это теперь принято: о твердой закалке, о старой закваске, о великом могуществе, а дальше и того лучше — мол, Саар наш германский, а кто его знает, где этот Саар, только, думается мне, он не шире нашей Шешупе.

И тут-то мимо открытой двери трактира, мимо перепуганной компании — крику было: не все сумели сохранить такое невозмутимое спокойствие, как ассистент Ленувайт, — мимо этого вот праздника и проходили наши путешественники, и пока Гавен помогал своему коллеге музыканту подняться, Фойгт ринулся вперед, ткнул Ленувайта в тощий чиновничий живот и сказал:

— Завтра ты, чурбан, явишься в полицию с повинной, а не то я сам этим займусь в понедельник утром.

Потому-то они так спешили по площади Флетчерплатц, и Фойгту пришлось окликнуть с полдороги господина Штейнера, который идет сейчас вдоль своего поезда, снимает с груди жестяной ящичек с билетами и влезает в последний, то есть во второй, вагон. Поезд узкоколейки трогается.

Поехали, поехали. Ну и весело — правда, потряхивает слегка, словно едем не по рельсам, а прямо по булыжной мостовой, она и справа, она и слева, и, конечно, посреди между рельсами тоже. Кто не знает, отчего такая тряска, озабоченно выглядывает из окон. Вот мы поднялись к началу моста, туда, где низкая ограда, а вот уже и сторожка, вот и первый устой — отсюда арки моста начинают свой мощный полет. Глу-

боко-глубоко внизу — река, ее видит тот, кто смотрит прямо вниз, а тот, кто глядит вперед, — противоположный берег: сначала полосу песка, перед ней — небольшие запруды, потом луга, бесконечные и зеленые. Прусселяй — поселок среди лугов, — его не разглядишь, и отсюда, сверху, тоже, с насыпи, по которой бежит узкоколейка рядом с шоссе. Скрежещущий тягучий звук железа, скребущего по железу, оборвался, насыпь изогнулась, а вместе с ней и рельсы, первый вагон, моторный, протащил прицепленный к нему второй через два крутых поворота. Теперь скрежет оборвался, зато толчки продолжаются через равные промежутки: рельсовый стык — толчок, все время одинаковые толчки, они прекращаются только, когда, вот как сейчас, путь идет слегка под уклон и скорость увеличивается, но к ним легко привыкнуть.

Гавен нашел ритмическую последовательность — три раза по две четверти, — точно подходит, без вступления, а толчок приходится на короткую ударную синкопу. Круговая мелодия, двустрочная, непрерывно повторяющаяся. Suktinis — кружащийся танец. Эта мысль запала ему в голову еще на мосту через речку Ужленкис — не речку даже, а заболоченную старицу, ежегодный остаток от ежегодного весеннего разлива, когда вода доходит по правому берегу до Прусселяй и стоит так почти шесть недель; иногда случается такое и по осени.

Вот как пришла ему в голову эта мысль. Когда они переезжали по высокому мосту через Неман и река тяжело дышала справа от него, широкая и темная, и летящее покрывало белых кружев, света и маленьких, опрокидывающихся водяных гребешков над ней, его занимало другое чередование звуков — еще не мелодия,

или уже не мелодия, несколько непривычных интервалов при постоянной смене тактов, беспрерывные модуляции, фермата не фермата, ритардандо не ритардандо — скорее повествовательный тон, но не парландо; тяжелый, отчетливый ритм, подобный дыханию, но не четкий, — поющие смычки над стремительным потоком.

Это прочно удерживает его у окна; теперь потянулись луга, он едва заметил, как поезд остановился, как вошли литовские таможенники, он протянул им свой пограничный пропуск, на нем поставили штемпель, он снова сунул пропуск в карман, и поезд поехал дальше в луга. Теперь, с мелодией suktinis'a, он замечает, что его спутники погружены в беседу и, вероятно, зашли довольно далеко, судя по нескольким резкостям. Крауледат говорит, а супруга повторяет его слова тоном выше и не без яда:

— Ну как это можно так говорить?

Фойгт только что рассказал о происшествии в трактире высшего класса, о том юбилее, с негодованием рассказал, и назвал кое-кого мерзавцами. Крауледат, надо прямо сказать, сначала молчал, взял себя в руки, видя такой явный недостаток национального чувства: и у кого, у своего сослуживца, господина Фойгта! Лаупихлер, тот сразу высказался.

— Это может иметь последствия, — и сразу же спросил: — Вы в самом деле назвали его чурбаном, господин профессор? И толкнули? Ведь он был в мундире.

Довод Фойгта, противопоставившего достоинство — чувству (и то и другое, увы, с добавкой «национальное»), отвергнут решительной ссылкой на мощь и величие, тоже национальные. Но настоящее возмуще-

ние возникло тогда, когда Винклер тоже задел это национальное достоинство, намекнув слегка и в общей форме на один обычай тильзитского населения: национальное-то национальным, а после обеда как миленькие отправляются на тот берег Немана и до отвала напихиваются тортом со сливками и полные корзины набивают — благо на немецкие деньги это почти что даром.

— Дешевле стоит, — сказала супруга Крауледата, — все так делают.

А учитель гимнастики Крауледат счел необходимым добавить:

— Мы не несем ответственности за литовское неумение хозяйничать и вообще...

Тут-то и была произнесена та фраза, которую повторила фрау Крауледат повышенным тоном и при которой Гавен, оторвавшись от созерцания лугов, повернулся к своим спутникам, все еще слыша мелодию suktinis'а.

— Ну как это можно так говорить?

До сих пор мастер сцены Швилюс был, пожалуй, прав: скрипку в руки, уткнулся в ноты... Но сейчас это уже неверно. Далекий от мира сего Гавен, Первая скрипка или концертмейстер — как вам больше нравится, — высказывает свое мнение тоном сведущего человека и весьма определенно:

— Это неумение хозяйничать, о котором вы говорили, господин Крауледат, имеет, как мне кажется, простую причину.

Крауледат, скрестив руки, откинулся назад, а Винклер подался вперед, ему не по душе эта игра на курсе валюты и дешевые распродажи на самой границе, от этого его собственный оборот неуклонно падает из ме-

сяца в месяц. И вот такой человек, как Крауледат, такой человек, как Лаупихлер, должны теперь слушать речи этого Гавена.

— Расторжение торговых договоров имперским правительством, — этот тип так и сказал: «имперским правительством», — естественно, приводит в расстройство экономику маленького государства; и мне кажется, что причины этого, как вы выразились, «неумения хозяйничать» следует искать скорее на нашей, — он все-таки сказал «нашей», — чем на литовской стороне.

Ну, это сильно сказано! «Смотрите-ка, каков Гавен», — думает Фойгт, а Винклер говорит:

— Я думал, вы музыкант.

А его жена в это время особенно настойчиво вовлекает супругу Крауледата в разговор о старинных немецких кружевах. Лаупихлер говорит: «Очень интересно», — и придает своему лицу подчеркнуто германское выражение, сохраняя его даже тогда, когда Крауледат щелкает пальцами и, как бы между прочим, роняет:

— Ну и что же.

А пока мы уже проехали изрядный кусок и даже оставили позади окрестности Прусселяя, — помните, страна лугов, зеленая, в зелени почти исчезают поселки и хутора, и старица под Прусселяем после Шакая тоже исчезает, сворачивает на юг — старое русло Немана, который здорово здесь похозяйничал, пока не укрепили его берега. Подъезжаем к Микитаю: здесь поезд стоит дольше, здесь из моторного вагона пересаживаются в погегяйский поезд, состоящий из четырех пассажирских и двух товарных вагонов; он уже на соседнем пути в ожидании новых пассажиров

и прицепного вагона — заберет его у тильзитского моторного. Лаупихлер вылезает здесь. Прощание весьма краткое. Вот он спускается на перрон. Штейнер уже стоит там.

— Что, переругались?

Твердой походкой, ступая с пятки на носок, Лаупихлер удаляется, не обращая внимания на вопрос Штейнера, который пускает ему вслед:

— Ступай в задницу...

Одним попутчиком стало меньше, но вот в Ломпонене — большая деревня, лежит у самой железной дороги — вылезают и Крауледаты, и поэтому, да потому еще, что Винклер уснул, а жена его вяжет, приходит новая тема разговора, вот она уже здесь.

— Причкус, или в переводе Пассаржа, староста Фриц (вы же знаете, в литовском языке нет звука «ф») имел обыкновение рассказывать интересные истории.

Это сказано так, вообще, а может быть, и с намеком на тех, кто вышел из вагона, так или иначе это из идиллии Донелайтеса «Блага осени».

Фойгт достает свою бумагу, ту, свернутую, из жилетного кармана, вытаскивает рывком, быстро разворачивает и говорит:

— Я думал, в третьем акте и еще где-нибудь дальше использовать сцену из идиллии, разумеется, в совершенно свободной трактовке: его персонажи — Энскис, это тот, у которого didelis peilis (длинный нож) и белая кобыла, и Дочис, бездельник, и Слункюс — лентяй, как говорит само его имя, а Донелайтис будет ходить среди своих героев и говорить что-нибудь вроде: «Боров ты этакий, как же живешь ты, бесстыжий?» Можно бы вывести и его однокашника Шпер-

бера из Кунцая, он был в гостях в Тольминкемисе в 1763 году.

Вот так, без всякого перехода, мы с вами очутились в самой гуще, и Гавен уже бродит с Фойгтом по его путям и перепутьям, он предлагает вставить несколько песен.

— В связи со сценой свадьбы, которую вы хотите взять для оперы, господин Фойгт, — из идиллии, я сужу по именам, — неплохо бы подумать об одной шуточной песенке из сборника Юшки, том первый, о старом женихе — едва вошел в горницу, начал шарить глазами по полкам.

— Прекрасно! — Фойгт смеется. — Я знаю эту песню. Когда он въезжает во двор, лошадь опускается на колени, чтоб он мог слезть.

Итак, они начинают наперебой подавать друг другу идеи. Длинная бумажная полоса Фойгта обрастает дополнениями, разъяснениями и указаниями, записанными по специальной системе сокращений Фойгта.

А пока что поезд катится то вверх, то вниз по знаменитым Полумпяйским горам, — моренные гряды, как учат в школе, — следы глетчера — услышишь этакое, и чего только не вообразишь, но все окажется совсем не таким, как увидишь прекрасные холмы, такие зеленые и так красиво возделанные и засеянные рожью, овсом и ячменем, и так красиво застроенные хуторами — сирень и бузина по одну сторону риги, а по другую и вокруг дома — сады с фруктовыми деревьями и высоким шпорником, — поймешь: вот они какие, знаменитые Полумпяйские горы; тут уж паровозику приходится потрудиться. Один раз он даже откатывается назад для разбега, и тогда просы-

пается Винклер, он сопит, и ему даже не надо глядеть в окно, чтобы сообщить:

— Раньше Лаупихлер неплохо сбывал здесь свои насосы. Грунтовые воды лежат глубоко, а литовские колодцы — яма, стены которой укрепляют балками, — здесь не годятся. А Лаупихлер, не понимаю этого человека, как он может так рассуждать — ведь все его дела здесь пошли прахом.

Поезд останавливается. Полумпяй. Штейнер вылезает. По дороге, по засохшей глине, бегут дети и машут руками; вот они уже здесь и говорят что-то господину Штейнеру, а внизу, у крайнего двора, — старушка в черном, с черным платком на голове, и все становится ясно.

— Бегите вперед, ребятки, — сказала она, — пусть господин Штейнер подождет.

И он, разумеется, ждет, делает несколько шагов навстречу и помогает старушке влезть в вагон.

Потом он свистит.

Если дочери Панзеграу стоят сейчас возле своего домика, они, наверное, услышат этот свисток, а не только тот, следующий, который Штейнер даст уже на вершине у Керкутвечяя; Вилькишкяй, где Панзеграу обслуживают вокзал, совсем близко. Правда, деревню, которая лежит по правую сторону, скрывает высокий холм, но слева, на равнине кое-что можно увидеть: Мажурмачяй, где сидят Мейеры, а дальше, что уж совсем необычно, выстроились в ряд маленькие усадьбы, словно вдоль улицы, а в конце — дом из красного кирпича, похожий на фабрику.

Здесь мы вылезаем. Винклеры едут дальше, в Вешвиле, а мы вылезаем здесь, у сарая с жилой пристройкой, то есть у вокзала, если вам угодно называть его

так, где фрау Панзеграу выглядывает из окна и кивает фрау Эпштейн и ее мужу — текстильные товары, головные уборы.

У Фойгта с Эпштейном недолгий разговор — до шоссе. Эпштейн говорит, выходя из вагона:

— Я понял из ваших слов, что вы едете к учителю Пошке. Очень рад.

Обязательно надо спросить, почему это доставляет радость господину Эпштейну. И что же он отвечает?

— Человек, который поет, — всегда радость, господа.

Да, видит бог, это неплохо сказано. А к тому же у Эпштейна круглое, приветливое лицо. Радуйся, Эпштейн, и пусть Фойгт ничего не рассказывает тебе о старом Элизате из Тильзита. Ты знаешь истории и похуже. Не думай сейчас о них.

И, поверите, он не думает о них.

— До свиданья, господин Эпштейн.

Надо спуститься с холма вниз, в деревню. В небо вонзается церковный шпиль. Дом перед церковью, вероятно, школа, а в доме напротив, наверху, над залой трактира Платнера, как будто живет Пошка.

Мир и благоденствие кругом! Самое время сказать здесь об этом. Ибо всему наступает конец. И тогда будет сказано то, что должно быть сказано.

— Идемте, господин Гавен, — зовет Фойгт, потому что Гавен остановился.

Его взгляд блуждает по деревне, по очертаниям холмов за ней, по полям слева, по закатным краскам: темно-зеленый, светло-желтый, красноватый и медленно сгущающийся синий. Самое время сказать здесь об этом.

Глава II

Чашки зеленые, кофейник синий, молочник белый, тарелка с оладьями желтая с красным. Фрау Платнер сама принесла все сюда, наверх, на коричневом подносе. У господина учителя гости из города.

Потом она ненадолго задерживается у дверей и, опустив поднос, говорит о деревне и городе, о разнице между ними — вы же сами видите, она становится все заметнее — и о завтрашнем празднике.

Завтра трактир здесь можно и не открывать, завтра всю праздничную выручку соберет один Вите.

Вите — трактирщик в Битенае, знает об этом Гавен или не знает, но Фойгт в курсе дела. Завтра Патриотический союз германских женщин справляет ежегодный праздник в Битенае, завтра же литовцы празднуют день Витаутаса на Рамбинасе. Праздники в корне различные, к тому же между Битенаем и Рамбинасом лежит луг метров в двести, там можно расположиться, туда подъезжают телеги, там играют дети, через этот луг можно пройти от трактира к горе и, конечно, обратно; на горе нет ничего; темный еловый бор, он спускается по северному и северо-западному склонам в долину, но не к реке, которая напирает на холм с юга. На самой вершине Рамбинаса — небольшая поляна, камень, жертвенный камень того самого Перкунаса — говорят, он умеет вызывать гром, — священный камень с высеченными на нем двумя желобками: черным и серым.

Стоя здесь, наверху, среди елей, увидишь между стволов свет над рекой, а самой реки не видно, только клочья света, потому что ветер из речной долины врывается в лес, ломает сухие сучья; лес на этой сто-

роне постепенно редеет: река вгрызается в гору, подмывает берег и уносит деревья и кусты и обвалившуюся вместе с ними землю. Только небо, оно одно над нами — круглый круг.

Фойгт все это знает, а Гавен узнает; фрау Платнер ушла; учитель Пошка говорит:

— Погода, по-моему, установилась.

Гавен замечает:

— Красивая деревня у вас.

Это нельзя не сказать, если стоишь, как Гавен, у окна в комнате учителя Пошки и смотришь на одичавший парк имения. Окна выходят во двор, следовательно, на имение. Фойгт говорит:

— Шумновато.

Окно открыто, и доносятся пронзительные голоса; можно догадаться, что происходит внизу, в зале у Платнера.

«Мой славный и верный народ!»

Резкий голос, на целую пригоршню тонов выше естественного тембра. Ну и могучий дыхательный аппарат, как он сотрясает воздух!

«Мощная, должно быть, женщина», — Гавен замечает это про себя. Голос явно непоставленный. Никто не учил ее здесь, в деревне. Впрочем, кто его знает. А Пошка объясняет:

— Фрау Фрелих.

Впрочем, что это может объяснить?

Теперь внизу задекламировал хор:

Войдем с благоговением
Под сень лип.
С молитвами и пением,
Под сень лип *.

---

* Стихи в «Литовских клавирах» переведены В. Леванским и Г. Ашкинадзе.

И снова голос: «Мой верный народ!» На этот раз словно бы с округлым движением руки, со слегка склоненным станом, словно бы всадница. А надо бы по-другому, как из кареты кивок, сквозь кружевной платочек у рта. Внизу ей это объясняют и снова репетируют. Слышны два-три мужских голоса, а среди них тот же резковатый женский, но теперь несколько тише.

А наверху Фойгт говорит:

— Они, видно, хорошо поработали...

Он имеет в виду репетиции, которые, надо думать, уже несколько недель идут там, внизу.

— Разумеется. Сегодня, вероятно, последняя.

Теперь вступил хор, и стало ясно, что они играют: бедные, но преданные жители прусской Литвы присягают на верность своей королеве, своей унылой Луизе, которую все так полюбили после ее смерти. Место действия — Тильзит, время — июль 1807-го. Драма оберлерера Брюфиша, в духе которой взрастили их всех, всех девушек-невест и из Союза королевы Луизы и из Патриотического союза германских женщин. Фойгт мрачно повторяет: «Патриотический союз германских женщин», нарочито коверкая слова; он меняет ударения и с издевкой растягивает последние слоги.

— Вы не могли бы...

Гавен сейчас же перебивает сам себя. Ему мучительно слушать это пение, но Пошка — нет, нет, нельзя требовать, чтобы он... Это пение — не просто пение, нет, только бы они не тянули так, и второй голос все время фальшивит — слушать мучительно, но ничего не поделаешь.

Они продолжают там, внизу. Начали другую сце-

ну: на этот раз — во внутренних покоях, говорят быстрее и гораздо тише, только время от времени вырываются отдельные звуки, вот как сейчас — тяжелый стук об пол.

— Это прусские литовцы бухаются на колени, — говорит Пошка, допивает кофе, встает, Гавен говорит:

— Может быть, посидим внизу, в трактире?

Но разве он ничего не заметил, господин Первая скрипка, раньше, когда они входили? Кого там только нет.

Урбшат, Кайрис и Ленгвенайт — стало быть, совет общины; Моцкус из окружной кассы, лесничий Швиль и начальник школы Канкелат, Никель Скамбракс, депутат ландтага — пестрое общество, и все за одним столом, среди них несколько приезжих, а у дверей две машины.

— Вот тот — Нейман из Мемеля, — поясняет Пошка и, как учитель, не может не добавить: — Со своими сотоварищами.

С таким же успехом он мог бы сказать: со своими собутыльниками или со своими сообщниками.

Нейман, вот он, значит, адвокат Нейман, фюрер только что основанной по указке Берлина партии Мемельского округа, подлинно германской и великогерманской, конечно же, слышали? Завтра мы насладимся торжественной речью, лихая будет речь.

Итак, в трактир идти нечего. Лучше прогулка по деревне.

Но прежде всего — опера. Ради нее мы сюда и приехали.

— Мы просим вас о помощи, господин Пошка, — говорит Фойгт.

И сейчас же: бумажную полоску из жилетного кармана, раскатать ее, разгладить, на этот раз на столе. И теперь, когда все: окрестные селения, которые они проехали, деревенская дорога, что протянулась от вокзала к деревне, — весь этот ландшафт, который, чуть приблизишься и войдешь в него, тотчас обернется дворами, домами, ригами и хлевами, крытыми то черепицей, то соломой, а то и дранкой, обернется цветниками и фруктовыми садами, огороженными выгонами для овец, а позади — вытянутой чередой холмов, парком имения; и эта комната, и литовское покрывало, и веночек над кроватью с красными, желтыми и зелеными лентами, резная вешалка для полотенец на стене, две удивительно красивые литографии справа и слева от окна и портрет старой женщины над консолью, — теперь, когда все это поддерживает Фойгта, уста его произносят:

— Опера.

Сцены, выходы, монолог, вмешательство властей, помолвка, острый диалог, но перед этим отъезд юноши, сына вдовы из деревни в город, прощание у околицы. Он машет шапкой, поднимает палку, украшенную лентами; ветер несет слова далеко вдоль улицы — примерно так это будет выглядеть. Потом свадьба со множеством персонажей: Слункюс и Дочис, Сельмике, Магуже и Асте. И вот сделано первое пианино, потом рояль, dandum quandoquidem etiam posteriati aliquid est, под конец второй рояль, песня трех прихожанок, разжигание лучины.

Возражения Гавена направлены против искаженной латыни.

Можно сказать это и по-немецки, полагает Фойгт, сама мысль должна дойти до грядущих поколений.

Пошка предлагает немецкое послание Донелайтиса в стихах: «Вы, тени быстролетного времени» или «Твое Ничто уже ушло, твое Все уже исчезло». Но это совсем не то же самое: это стихи, написанные в утешение дядюшке-амтрату в Зоммерау по случаю смерти его жены; немецкий — от молодости, на латынь он перешел позже, при размышлениях в саду, во время окулировки и прививки фруктовых деревьев, в раздумьях об этой деревне и об этих людях; «Ну, вот умру я, а потом что будет?» Мысли деревенского священника. К этому времени относятся тревожные донесения амтмана Руига своему ведомству в 1775 году: люди слушают только его, Донелайтиса.

— Мы просим вас о помощи, господин Пошка.

— Вы все знаете сами, господин профессор.

Пошка, конечно, прав. Фойгт знает, как одевались тогда люди, как жили, как говорили — разве не так, как сегодня?

Правда, не в Тольминкемисе — вытеснение шло с юга на север, помните, мы говорили об этом, — безвозвратно исчезающая народная традиция, которой жаль, но все-таки в Рагнитской округе, например, коечто сохранилось, и здесь, на северном берегу Мемеля, и еще дальше на север тоже. Тут как раз к месту замечание Гавена о песнях. Пошка листает свое собрание.

— Вот, — говорит Фойгт, выхватывает один из листков и переводит Гавену; правой рукой он отбивает ритм, стараясь противопоставить своеобразную мелодию языка странному ритму, непривычно растягивая гласные и повторяя звуки, чтобы получить необходимые два слога. Например, в слове песок звук «е».

«Там, под дубом, на белом пе-е-ске...» Но вот он заторопился и словно выстреливает ритм:

Отцом родным мне станет дуб зеленый,
Матерью — белый песок,
Братьями — клена побеги,
Сестрами — мягкие липы.

— Побеги, — с сомнением произносит Пошка.

— Вы правы, но не скажешь же «кленочки».

С оперой дело идет, но и там, внизу, в трактире тоже.

Компания все еще сидит за столом; местное пиво, во всяком случае то, которое здесь подают, отличного качества — Вольф Энгельман, Каунас. Дамы и господа после репетиции расположились тоже здесь — разумеется, в костюмах, не могут они расстаться с этим старьем. Фрау Фрелих, учитель Шинкус, парикмахер Бергер, жандарм Вазген. Какие громкие слова здесь произносят и как благоговейно их выслушивают!

— Тута, Гендролисова младшая, — сообщает Кайрис, — спуталась с литовцем.

— Мы должны немедленно вмешаться, — говорит фрау Урбшат. Она тоже репетировала — роль обергофмейстерины Фос.

— Только не здесь, не в деревне, — полагает парикмахер Бергер, — мы обделаем это дельце завтра.

Итак, в программу праздника включается еще кое-что.

И эти гости, прибывшие на машинах, тоже, наверное, внесут свою лепту.

Адвокат Нейман то и дело как бы между прочим взглядывает на своих сотоварищей, то на одного со-

бутыльника, то на другого сообщника. И сейчас же над столом, свистя, взвиваются и щелкают слова: «национальный позор», «германская честь» и тому подобное — оглушительно, как всегда произносятся эти слова, когда попадают в подходящие глотки! Ноздри раздуты, рот разинут, голос на одной ноте. Теперь очередь фюрера Неймана, теперь он может проверить действие своей завтрашней торжественной речи на публике, этого он не упустит.

Сейчас, услышав о Туте Гендролис и порассуждав немного о чести и достоинстве, он переходит непосредственно к древним германцам. И хотя до сих пор все слушали мемельского господина с уважительным вниманием — и, судя по всему, так будет и впредь, — в этом месте речи господин Канкелат не выдерживает — уж больно пиво хорошее, а водка и того лучше — затягивает: «На обоих берегах Рейна они сидели, пили себе да ели» — и, пропуская мимо ушей высказывание Неймана: «Наш Рейн — это наш Мемель!» * — снова: «Сидели, пили-да ели».

Слабые голоса жандарма Вазгена, Швиля и Урбшата и режущий голос фрау Фрелих вторят: «На обоих берегах Рейна они сидели, пили себе да ели», — и достойное заключение старого Лемке: «Ну и задница была у этих древних германцев!»

Не так-то просто Нейману удержать мушку в прорези прицела, или, если так вам больше понравится, удержаться на острие меча, а попросту — не дать людям уклониться от темы.

— Мы знаем, что поставлено на карту, — решительно бросает он.

---

* Немецкое название реки Неман.

— Ну, конечно же, мы знаем, мы все знаем, — успокоительно кричит Платнер от стойки.

Но Канкелат выкрикивает:

— Мы-то лучше всех знаем! Навязали мне на шею этого литовца. — Он готов уже разразиться речью, но внезапно, словно поперхнувшись, умолкает.

Как раз в эту минуту по лестнице спускаются тильзитские гости, и Пошка впереди них.

Канкелат тотчас поднимается, еле кивает Пошке и проплывает мимо него прямо к Фойгту.

— Господин профессор, как вы сюда попали?

— По узкоколейке. Разрешите представить вам господина концертмейстера Гавена. С господином учителем Пошкой вы, разумеется...

— Да, да, — быстро перебивает Канкелат и: — Очень рад, господин концертмейстер, — а обернувшись к Пошке, шипит: — Мы с вами еще потолкуем о сегодняшнем...

— Мы вас задерживаем, господин Канкелат? — говорит Фойгт, слегка кивнув сидящим за столом, надевает шляпу, и, так как Канкелат отрицательно мотнул головой и сказал: «Ничего, ничего!» — Фойгт, дружелюбно и медленно поворачивая голову, произносит: — Мы хотим совершить небольшую прогулку по деревне.

Нейман услышал «профессор»; он поспешно, но сохраняя выправку, бросается к ним, резким движением опускает подбородок к узлу галстука, быстро вздергивает его снова вверх, так что выступает острый кадык, и слегка в нос:

— Нейман, — а потом помягче: — имею честь говорить с профессором Фойгтом? — И на невозмутимое фойгтовское «разумеется» — более жестко: — Будете

иметь удовольствие видеть здесь почти нетронутую немецкую деревню.

Ну уж Фойгт-то ехал сюда не за этим.

Нетронутая, так-то оно так, а как же Гендролисова Тута?

Старый Лемке трясет головой, от смеха, конечно, от глубокой внутренней радости. Нетронутая, так, так! А тот парень, не Тутин ли литовец? Красивый, шельмец!

— И по-немецки говорит, — добавляет фрау Фрелих: она из города, но это ровно ничего не меняет.

— По-немецки все могут, — утверждает Лемке, он знает, что знает, — и точка.

«Блажен, кто верит; в муке, кто мелет». Это пение; поют сзади, за столиком в углу, подле печки. Невнятное пение, но не пьяное бормотание, а рев, который липнет к вам, как мокрая тряпка.

Прощание перед дверью. Фойгт шаг за шагом приближается к цели — к выходу, ему приходится почти тянуть за собой вежливого Гавена. Теперь они стоят перед дверью, там, где дорога от вокзала встречается с деревенской улицей. Куда спешит Пошка, мы уже знаем. Он ушел.

— Церковь оставим на завтра, — говорит Фойгт.

Итак, церковь остается позади, слева; за пасторским домом деревня все равно кончается, она сворачивает вправо, вдоль мощеной улицы, которая под конец разветвляется на три, и средняя из них — шоссе — ведет из деревни вверх по холму, мимо ветхих помещичьих амбаров; плоская возвышенность за ними, где беспорядочно раскинулось имение, круто спускается в луга, а там начинаются болота, их сразу узнаешь по зарослям кустарника, по камышу и по штабелям

нарезанного утром и разложенного для просушки торфа. Дорога бежит вдоль подножья холма, возвышающегося по левую руку. По косогору до середины склона взбираются крестьянские усадьбы, за ними до самой вершины — сады. По другую сторону дороги — плоская равнина, на ней лишь там и сям усадьбы.

Они уже прошли порядочный кусок по деревне. Фрау Канкелат поспешно вышла из школы; ей пришла в голову мысль сходить в трактир за мужем, спасти его, бедного, больного, от искушения, а следовательно, и от погибели от преждевременной: ему всего шестьдесят — фрау Канкелат успевает разглядеть спины: Фойгта, почтенную, широкую, и Гавена — прямую и узкую, прежде чем господа сворачивают за угол.

Кого это опять принесло?

Но у Канкелатихи нет времени для размышлений. Сейчас для нее существует только одно: этот непутевый парень!

В общем-то она права, в общем-то: сплошные неприятности с самого утра. Чего только не было!

С самого утра в третьем классе у малышей такой крик ужасный, скажу я вам, хоть ноги уноси! Ну, значит, бросаю я постели недостеленными, дело недоделанным и кидаюсь вниз, дети одни, о Пошке ни слуху ни духу, что ж удивительного, — в классе все вверх дном, играют в салочки и в прятки, скачут по партам.

Ну, едва я влетаю в класс, все детки как миленькие поднимаются и говорят: «Здравствуйте!» Об этом фрау Канкелат сообщает еще дружелюбно, но уже весьма громко, и выразительно подчеркивает: «Здравствуйте!», как оно должно быть сказано одновременно сорока детками. Но деток не так-то легко было заставить, не обошлось без длительных увещеваний, лич-

ных обращений, затрещин. Ответ на вопрос, где учитель, хоть и произнесенный диким хором, но куда более упорядоченный, чем приветствие, гласил:

— Господин учитель был.

Господин учитель сплыл.

Итак, Пошка отсутствовал. Ну, значит, маленький Эндрушат — что за послушное дитя! — послан к Платнеру. Через полчаса Пошка — на месте. Проспал. Как можно?

Уснул. Голова на столе, и бумаги свои из рук не выпускает, керосин в лампе выгорел, стекло снизу доверху закоптилось, воздух в комнате... Можете себе представить. Заснул от этих бумаг, чего там только не написано. Помяните мое слово, еще совсем свихнется парень.

Но хуже всего было то, что собственный муж, господин Канкелат, а следовательно, начальник Пошки, тоже был вне досягаемости. Всю ночь не приходил домой. Пьяный вдрызг, а значит, введенный в соблазн, он был обнаружен, и где бы вы думали?

У нового пастора.

В девять утра она постучала в дом к пастору, обегав перед этим все три деревенских трактира и заглянув к Ленгвенайтам и Кайрисам: они гонят самогон, противозаконный, но вполне хороший. Ровно в девять, потому что не пристало беспокоить духовное лицо раньше. Но Лазер, новый пастор, пригласил ее войти.

Он сказал:

— Я их еще не отличаю друг от друга. Поищите своего.

Пьянчуги вповалку валялись на полу.

— Все было вполне безобидно, — пояснил Лазер. Так оно и было.

Лазер, только что переведенный сюда из Робкойна, начал свою новую службу еще до воскресного введения в должность. Он собрал у себя членов церковного совета в пятницу, в семь вечера. Все было обговорено быстро и без всяких споров, все деловое, а потом кто-то и еще кто-то — кто именно, пожалуй, теперь уже не узнать, потому что Лазер еще не отличал их друг от друга, а остальные скоро уже не могли отличить самих себя, — кто-то намекнул на славу, сопутствующую новому пастору: веселый человек! — сопроводив это неким жестом, как в песне: «Опрокинем по рюмочке!», в некоторых местностях в таких случаях употребляют пословицу: «Пей, не робей...»

Лазер, как выяснилось, компанию не испортит. Он достал бутылки, и не из кладовой, а прямо из шкафа, откупорил все и поставил на стол, и сам не отставал.

Видно было, что он мастер своего дела. А Канкелату, да и другим тоже, собрание не пошло на пользу. Фрау Канкелат вела его домой и не смела даже ругаться вслух, даже совсем тихо не смела, только про себя. Чтобы не раздражать мужа. Тот, недолго думая, остановился бы прямо на площади перед церковью или перед школой и заревел бы на всю округу!

А теперь этот негодяй снова сидит в трактире... Боже мой, бедняжка, заблудший, больной.

— В один прекрасный день у меня лопнет терпение — вот что я вам скажу!

С этими словами фрау Канкелат влетает в дверь и вот уже стоит в трактире у Платнера.

Оглянись вокруг, Гермина Канкелат, и не забудь того, что увидишь. Кто здесь перед тобой? Хочешь, мы назовем их? Смотри, как они там сидят, орут, пьют за здоровье своего фюрера; он как раз сейчас хлопнул

кого-то из них по плечу и напомнил о другом, великом фюрере, которого зовут иначе, не так, как его, не Нейман. А остальные, эти собутыльники и прихвостни: они хотят что-то уничтожить. Кажется мне — людей. Выгнать в степи. Выгнать и прикончить. Прислушайся и к этому известному всей деревне горлопану, послушай теперь его: «Блажен, кто верит; в муке, кто мелет».

Попробуй выведи отсюда своего заблудшего: надеюсь, тебе посчастливится. Но не забудь того, что видишь здесь. Даже если сейчас, неожиданно для самих себя, они все запевают, и горлопан с ними вместе, навстречу тебе: «Светлый месяц тихо всходит!» Платнер, только что открыв окна, тут же закрывает их снова, услышав песню.

Платнер никого больше не впускает. Лучше запереть дверь, чем допустить скандал. Съедено и так уж достаточно. Зал он запер: кому нужно прогуляться, пусть идет домой. Но его долг — гостеприимство. Даже если это трудно. А фрау Платнер закрывает еще и дверь во двор: «Они описают мне все бегонии...»

Наверху, над залом, тишина. Окно закрыто. Покинутая комната. Только что здесь были люди, сидели, почти не вставали, сделали всего несколько шагов, не мерили комнату шагами, просто сидели на прочных резных литовских стульях, сидели, думали, говорили. Потом они ушли, и комната осталась пустой. Занавеска на окне не спущена. Свет кружит по деревне, постепенно меняясь, над шелестом ржи за пасторским домом, над испарениями маленького пруда перед кузницей, над запахами торфяного болота — он, как дым, проходит, принимая новые цвета, тона, новые оттенки, мимо окна. Может быть, задержится на

мгновенье, скользнет по литовским покрывалам на стене и на кровати: белая ткань с узором из блестящих и матовых квадратов разной величины, окаймленных тремя полосками крестов, углов и звезд. Пробежит по литовской резьбе на спинках стульев и на вешалке для полотенца: лучистые цветы, шестилистники, разомкнутые кольца, волютообразные венцы.

Удивительно красивые картины по обе стороны окна слегка светятся вслед свету, который заходит в комнату и не видит их, картины Чюрлениса. На одной — два короля. Коричневатые и голубовато-зеленые тона перед путаницей темных стволов и ветвей, сквозь которые светит небо бледными огнями звезд. Младший король подносит старшему на ладонях крестьянскую усадьбу, над которой раскрылся диск солнца, а старый, длиннобородый король серьезно склонился над ней. А на другой картине — два креста. Собственно, две грубые балки, на каждой под остроконечной крышей стоит маленький крест с выпиленными из дерева украшениями, напоминающими оленьи рога. Они стоят на лугу, можно разглядеть на нем ромашки и колокольчики, над оврагом, по которому, наверное, бежит вода. Сзади к дороге, обсаженной березами, поднимается косогор с полосами пашни. Картины этого Чюрлениса, который ничего не добился, когда начинал в Вильно и потом в Санкт-Петербурге, и умер от болезни в 1911-м. Картины светятся вслед свету, который не видит их; он подходит к портрету напротив окна, к фотографии старой женщины. На что же там смотреть? Как бы нам это выразить?.. Глаза старой женщины. Взгляд, который приковывает ваш взгляд, идет к нему или ждет его. И сразу же, сливая воедино ожидание и готовность идти навстречу, берет

вас под защиту. Спокойная доброжелательность, она не подчиняет вас, она останавливается в шаге или полушаге от вас, оставляет свободное пространство — пусть идет тот, другой, она не хочет принуждать, даже уговаривать, ни этим взглядом, ни его собственным волнением. Старая женщина, ей бы самой нужна поддержка.

Эти глаза испытали все, что должно было испытать. Это значит только: они смотрели, но все происходило не так, как в сказке о горошинах. Простодушный ребенок был там в сказке: сюда хорошие, туда плохие, проворно и честно, туда, сюда. Наш мир оказался не таким простодушным.

Свет стал более резким. Минутами казалось, что вещи меняются от освещения, что колеблются их очертания и плотность. Вот чуть сблизились веки, сузился взгляд, но заметно, как это произошло, — преходящее состояние, исчезающее вместе с резкостью света, и снова взгляд, состоящий из ожидания и движения навстречу.

Крепкий рот, чтоб говорить. Потому что было что сказать, и немало; размышления и мысли не обходятся без слов. Потом, когда дети выросли, — другие слова, суждения, уже не ответы на вопросы. Они теряли конкретность, но приобретали меткость.

Снова остановка — в шаге или полушаге. Совет, предостережение. Мысли отливались в форму, возникшую из жизненного опыта, добро и истина — в форму ежедневных деяний.

Портрет старой женщины, матери Пошки; ей за шестьдесят, она в цветном головном платке, в грубо связанном и решительно застегнутом платье. Легкая складка неудовольствия у переносицы и в правом углу

рта относится к фотографу, которому слишком уж много времени потребовалось для этой процедуры.

Что скажешь о подобном портрете?

Пожалуй, только, что на него надо смотреть и смотреть...

И уйти, как ушел свет.

Он покинул комнату, бежит по наружной стене дома, через стену в парк, по зеленым верхушкам, словно вырезая зубчатый узор.

Покинутая комната остается. Дребезжащий звук не то подымается с досок пола, не то падает с балок потолка и повисает, словно звук лопнувшей гитарной струны, звук вибрирующего дерева старого фортепьяно.

Фойгт и Гавен стоят перед дверью трактира. Они проделали большой путь, ходили далеко за деревню, туда, где за последним холмом по обе стороны дороги растянулась равнина, где течет большая река и ее притоки.

Долгий путь с долгими разговорами: о литовских делах, а значит, и об этих немецких тоже.

— Всегда так было, — высказал свое мнение Фойгт.

Гавен остановился даже, размышляя: так много хороших людей, так много приложено усилий для совместной жизни. Много неудач, но все же много и доброй воли — что принесло это напоследок? Разумеется ли под этим «напоследок» сегодняшний день?

Фрау Платнер отворила дверь. Они вошли внутрь. Там внутри все вымерло.

— Спокойной ночи, — говорил Гавен.

Завтра утром после службы в церкви он уедет в город. Вечером — «Кузнец из Мариенбурга». Опера. Он будет исполнять на скрипке свою партию.

Фойгт останется на завтра посмотреть праздник. Какой из двух, можно бы спросить, да стоит ли спрашивать? Вернется вечером на пароходе, вниз по реке, тихая поездка; только при отчаливании и причаливании зашумит, поворачиваясь, лопастное колесо; Фойгт будет сидеть и ждать, пока приблизятся огни и с ними город, станет различима филигрань арок моста, а волны небесного потока замедлят свой бег среди черноты, надвигающейся со всех сторон.

— Спокойной ночи, господин Гавен, — говорит Фойгт. — Завтра снова будет день.

Глава III

Итак, Пошка спешил.

Еще не стемнело, когда он остановился перед усадьбой Гендролисов, минуту соображал, что скажет сегодня, в субботу, в кухне Гендролисов, значит — жене Гендролиса, или в горнице, значит — отцу Туты Гендролис, потому что Гендролисы набожны, а суббота у набожных — набожный день, так что же он все-таки скажет? Добрый вечер, значит: «Laba vakara», отрывисто, совсем коротко, как принято в здешних местах. Хотя господину учителю можно было бы произнести это и по всем правилам, как он учит детей всю неделю, да, но только не в субботу вечером.

Крутой въезд с дороги во двор. Двор почти весь зарос зеленью: пупавкой и подорожником, только посредине, у колодца, — клочок влажной земли, и вокруг деревянного сруба светлая полоска песка.

Курам время спать, одна за другой они взбира-

ются на насест. Петух показывает дорогу, потом снова выскакивает наружу, пропускает вперед своих подопечных и замыкает шествие. Индюшки взлетают на свое дерево в левом углу хлева. Белые индюшки без господина, без индюка. Теперь они широко расселились на торчащих, как пальцы, сучках ясеня.

Напротив — вход в дом. Глинобитная постройка с низко нависшей соломенной крышей и низкими окнами побелена, как хлев и сарай. Дверь и окна обрамлены досками с выпиленными зубцами, дверь открыта — субботний вечер, у порога посыпано белым песком.

Пошка склоняет голову под притолокой. В сенях темно. Но отсюда всего пять шагов до двери в кухню, там, в кухне, горит керосиновая лампа, обыкновенная цилиндрическая лампа без шара, висит самым обыкновенным образом на стене, и все тут.

На скамье у очага сидит Оляна — она не очень хорошо, но зато очень быстро говорит по-немецки, засидевшаяся в девках, с двумя придаными, с шестьюдесятью метрами ею самой сотканного полотна, с огромным запасом спряденной шерсти, но с весьма малыми шансами. Сидит и парит ноги. И сейчас же, не здороваясь и не тратя время на пустые вопросы, начинает разговор: о плохих временах, что настанут, — словно они еще не наступили, о быстротечности жизни: «Я все кручусь и кручусь, ну точно белка в колесе». Это значит: она на ногах с утра до ночи, и вот теперь сидит, ноги в ведре — вода почти кипяток и кажется очень грязной, но она грязная не от ног — ноги моют под насосом в хлеву или у колодца во дворе, а от куриного помета. Именно его распускают в горячей воде, это хорошо для натруженных

ног, для распухших, израненных и для стертых: для ног или от ног — здесь это безразлично.

Итак, вечная спешка и вообще время, когда все торопятся жить. Но все это только потому, что Пошка стоит здесь. Так оставим в покое ноги и посмотрим наверх, на оживленные движения рук, тоже рассказывающих, на оживленную игру лица: все-таки развлечение сегодня вечером, потому что Оляна дома одна (об этом мы еще узнаем) и очень весела, не знаю, не слишком ли грубо будет сказать, да нет, ведь мы не в том смысле, весела, как Стасулисова свинья. Вот эта история в самом коротком виде. Почтальон в отставке, следовательно господин Стасулис, сварил пиво, не так чтоб слишком много, но и не слишком мало, а как раз столько, сколько нужно, когда предстоит скосить один морген луга во время сенокоса, так что уж, во всяком случае, не слишком мало. Оставшуюся гущу, прекрасный ячмень, он высыпал свинье. Свинья, она, конечно, раз, раз и готово — и пошла куролесить. Тычется в стены, и влезла бы на стену, да не удалось, и хрюкает, визжит, и, как пьянчужка, обмаралась от удовольствия, и обмарала все вокруг. Ну, Стасулис, то есть господин Стасулис, кинулся в свинарник, она и его обмарала. Он за ножом, потому что свинья свалилась, закатила глаза и захрапела. А сидит Стасулис, ну вот как ты сейчас — простите, вот как вы, господин учитель, да что уж теперь извиняться, в середине-то рассказа! Сидит и сидит себе на краю вымазанного корыта, скотина мирно храпит, неровно только дышит, он сидит — нож в руке. Как начнет подыхать, тут он ее и прирежет. Сидит до пяти утра. Ну, свинья проспалась, встает, недовольно топчется возле корыта — пустое оно.

Теперь и Стасулис может подняться, потягивается, идет в спальню, валится на кровать — и готово дело: спит, нож в руке, на ногах опорки...

И как теперь кто разойдется, о нем говорят: «Разошелся, как Стасулисова свинья», — и ничего обидного тут нет.

А остальные Гендролисы? Они пошли к Дрешерам — собрание или молитвенный час... Это одно и то же. Оляна не любит ходить туда: поют и поют, свистуны. Свистунами называет Оляна таких певцов.

Итак, к Дрешерам.

В часы молитвы, это несложно, просто подсаживаешься к ним. Они уже не поют. Теперь Гринда стоя обращается к своей пастве, те сидят.

Это совсем другая речь, не скороговорка Оляны. Паузы и те сопровождаются округлым движением руки, только замедленным, и речь течет спокойно, без запинок, как полагается, с подобающим назиданием; большого умения тут ненадобно, это уж испокон веку гладко идет, но вот сведения, их нужно раздобыть заранее, прежде чем начать речь.

Предмет речи обычный — грехи. На том, что человек может сотворить словами и делами своими, на этом задерживаться нечего, скорее к возмездию, к страшному суду, скорее к расплате за грехи; здесь сцены, картины, цвета, сравнения — как драгоценный елей, стекающий на бороду Ааронову, псалом 132-й, стих 2-й. А наказания... каких тут только нет! У фрау Дрешер болят зубы — и это тоже расплата? Но за что, за что?.. Тут уместно перейти к учению об искуплении: человек, этот грешник, требует справедливости, он обращается к господу своему, который, собственно, уже искупил все грехи, и говорит: ничего-де я не сде-

лал плохого, а другие, погляди-ка, чего только не делают другие, и ничего с ними не случается, наоборот. Итак, теперь перейдем к следующему, к безвинным страданиям, которыми так по-отечески наказывает отец детей своих, к испытаниям, которые он им приуготовил. Точно рассчитанный ход: от ревущей толпы грешников к мирному содружеству святых, от лязганья зубов — к аллилуйе. Как это поучительно! Того и гляди почувствуешь себя праведником и уже свысока посмотришь на грешников, что находятся вне этих стен.

На прощание — напечатанный трактат Гринды «Великие чудеса господни в минувшие дни», цена два лита пятьдесят центов за штуку, восемь страниц, издатель Фридрих Вильгельм Гринда, подмастерье булочника в отставке, и открытки со стихами, тоже напечатанные по восемьдесят центов и тоже со всеми выходными данными.

Пусть грех кровавый вершит твоя плоть —
Сей грех в твоем сердце убьет господь.

И хотя в речи перед этим была осуждена и подобная точка зрения, несколько открыток Гринда сбудет обязательно, восьмистраничная брошюрка есть уже у всех. Заключительная молитва — дело хозяина дома, значит Дрешера. «Отче наш» читают все: «Отче наш» или «Tèwe musu, kurs esi Dauquje».

Они расходятся. Гринда остается здесь. Пошка говорит: «Спокойной ночи», — но не всем. Шилат отворачивается. Тута уже вышла.

Кругом спокойная тишина.

Еще не стемнело.

Видно далеко над лугами, вплоть до холмов на

юге. Воздух пахнет сеном и немного пылью, но не вечером, не спокойствием и не сыростью, он только коричневатый, но не бледно-зеленый, не белесый.

Идешь в луга по дороге, а горы не приближаются, стоят, освещенные своим светом, и тоже словно слегка запылились. Только домик у подножья гор, что выглядывает из садика, он приближается, правда, медленно. Там, в доме, уже зажгли огонь, можно различить и отсюда: это не солнце, этот красный блеск на стеклах, оно уже ушло дальше, вниз, по направлению к Керкутвечяй.

Но нет нужды подходить к дому, если знаешь, где можно свернуть с дороги, которая подводит к домику и кончается там; литовский дом, Пошка знает его, Гендролисы тоже его знают, там живут две старые женщины, сад полон розовых кустов; и у каждой из четырех стен, у каждой белой степы стоят стебли красной мальвы, сверху донизу покрытые цветами. Впрочем, о мальве правильнее сказать — снизу доверху, а цветы, простые розетки, не закрываются: пожалуйста, пусть наступает ночь, им все равно.

Итак, обогнем справа. Домик останется позади — его называют «розовым домиком». На коньке крыши — две лошадиные головы, вырезанные из доски; вот теперь по-настоящему стемнело.

Девушка говорит:

— Завтра праздник.

Они идут лугом. Роса уже выпала, но луг только что скосили, и потому мокрая трава не страшна, земля выпивает всю влагу, и первая роса давно исчезла. Они поворачивают к поместью: высокие амбары и старый парк высятся в темноте горной цепью.

— Родители не поедут, — говорит девушка.

— А мы, — говорит Пошка, — мы ведь поедем. Иди сюда, — говорит Пошка.

Они останавливаются у копны. Пошка сдвигает верхние ряды сена. Темнота сохранила все тепло дня, только уплотнила его, сделала душнее. Говорить не хочется, но как-то само собой он начинает рассказывать.

Парк здесь совсем рядом. Можно различить отдельные, особенно высокие деревья. И доносятся крики с одного из деревьев, и ответные крики снизу, вот крики словно заколебались вокруг кроны деревьев, шум крыльев: павлины летают вокруг и зовут друг друга. Пошка знает эти крики: из ночи в ночь слышит он их сквозь сон весь июнь.

Он начинает рассказывать про юность; длинная история — средняя школа, училище.

— Отца я совсем не помню. У нас был его портрет на этажерке. Тогда у меня был друг, мы читали с ним стихи, в городе тоже есть такие уголки, там легче читается. Стихи о чувствах, в которых иначе не признаешься себе самому; немного помогают старые камни, а особенно тень. Деревья там росли всюду.

А так чувствуешь себя чужим в городе. И это не проходит. Дома, один пристроен к другому, идешь вдоль стен, улицы узкие. Через город протекает река, делится на два рукава и соединяется вновь. На острове, который она образует, стоят старая церковь из красного кирпича и высокие узкие дома — на почтительном расстоянии от церкви, — и перед ее сужающимися кверху окнами ряд старых лип. На одном конце острова — четырехугольная башня, а неподалеку от нее — арка ворот, и через площадь перед домом

призрения проходишь к «Коллегиум Альбертинум». Там у меня и моего друга Шпербера была комната за счет Литовского попечительства, мы питались, как это там называлось, из «общего котла». Однажды я упал в обморок на улице от голода на Бродбенкенштрассе. Доктор Конгель, родственник самого советника, взял меня к себе, в свой дом. Я отказался есть в его доме — он начал бы тотчас высчитывать, какими средствами располагает попечительство, и непременно сказал бы о господине Эфорусе: литовец не умеет хозяйничать, хотя средств вполне достаточно. Тебя я тогда еще не знал, Анна Регина.

Девушка откинулась назад. В тепло, поднимавшееся от сена к ее плечам.

Потом я разыскал его, Шпербера. Он был в Кунце долгие годы, это на Куршской косе, он приезжал ко мне, и мы разговаривали, и нам казалось, что мы все еще сидим над книгой Персиуса в классе Littera «С». O curas hominum, o quantum est' in rebus inane.

— Что ты говоришь?

— «О заботы людские, о ничтожество этих забот!» Мы слушали тогда лекции Шульца и Клопке, Курке и Салтениуса тоже. В городе говорили, будто он подписал договор с чертом. Мы в это не верили; он двигался всегда медленно, говорил тихо, у него были совсем белые волосы. А потом кто-то из нас просто спросил его, и он ответил: «Да». Он был тогда мальчишкой и написал записку и положил на перекрестке дорог: «Сатане».

В парке все еще кричат павлины. Вот один слетает с дерева, его видно на фоне летнего неба, можно разглядеть его парящий шлейф, а немного поглубже между двумя высокими деревьями — еще павлин.

И голоса пав, короткие, отрывистые призывы снизу, из кустов.

— О чем ты рассказываешь мне, Кристиан, о чем ты рассказываешь мне?

Пошка вздрагивает.

— Анна Регина, — говорит он, но почти беззвучно, и, словно узнавая, поворачивается к лежащей рядом девушке.

И девушка приближает к нему лицо, прямо к его лицу.

— Господи боже, чего только ты мне не нарассказал!

— Откуда я вернулся? Я здесь, я знаю это, где же я был? А как ты меня только что назвала? Ты сказала: Кристиан?

— Я не знаю, ты сказал, Анна Регина.

Девушка откидывает прядь волос с лица.

— Но ведь Анна Регина — это жена твоего Донелайтиса? — И немного погодя дрогнувшим голосом: — Пошка.

Пошка обнимает ее за плечи и снова узнает себя в ее лице, уже не испуганном.

— Тебя словно не было здесь, а теперь ты вернулся.

— И хочу остаться здесь, — говорит Пошка, — остаться здесь, сейчас.

Из парка доносятся крики тише, приглушеннее. Вот кричит пава, резко и высоко, а немного погодя ей отвечает ее павлин. Потом слышен шум, он слабее, в другом конце парка.

Месяц уже давно прячется в редких облаках. Теперь он переходит от одного к другому, на несколько мгновений из темноты резко выступают желтовато-бе-

лые края облаков, а потом свет падает сквозь прозрачную тучку, как сквозь дымчатое стекло.

— Профессор Фойгт и господин концертмейстер пишут оперу, — говорит Пошка.

— Об этом ты мне расскажешь завтра, — отвечает девушка и тянет его за волосы вниз, к себе.

— Я все говорю и говорю, — шепчет он, зарывшись лицом в ее плечо, — но я знаю, где я.

Больше он ничего не говорит.

— Я был как под водой, я звал тебя по имени.

Когда начинают говорить руки, что может говорить еще? Но что-то продолжает говорить, и мы слышим это. Но не слухом. Как же мы слышим?

Останься с нами, речь без уст. Останься с нами, слух без ушей!

Кричат ли еще павлины?

Светит ли месяц?

Об этом, наверное, знают другие.

Они, другие, выходят из деревни, вот они уже прошли мимо пасторской риги, слышны их голоса.

Не здешние, ведь мы на диалектальной границе, как говорит Фойгт. Уже можно разобрать: это из Крокишкяя, батраки и служанки, они ведут за собой свои велосипеды.

Дорога на Шерейклаукис слегка поднимается в гору перед деревней, потом снова спускается вниз. Вот они уже на пригорке. Теперь можно различить праздничные платья женщин, платки и литовские чепцы, украшенные лентами фартуки.

Светает.

Сегодняшний день начинается, как песня:

— Где был ты, Ионас, где ты бродил?

Пошка, еще весь во власти темноты, отвечает из своего мрака немного ворчливо:

— Где я мог быть?

А сверху, с дороги, раздается:

— Я был у нищего в Шилининкай.

И снова спрашивают женские голоса:

— Где был ты, Ионас, где ты бродил?

И мужчины отвечают:

— У нищего был я, за Саленай.

Наверху смеются, но продолжают спрашивать:

— Где был ты, Ионас, где ты бродил?
— В богатом доме, что в Лазденай.
— Что ел ты, что пил ты, когда пировал?
— Я красным вином ветчину запивал,
— А как постелили, где лег ты спать?
— В красивой клети, на цветную кровать.

Эта песня, с которой крокишкяйцы проходят мимо, наполовину песня, наполовину игра, с намеками и шутками; с этой песней обычно собирают травы перед ивановым днем. Собирают королевские свечи, зверобой, белый клевер, маргаритки и руту приносят из сада. Ими обвивают иваново дерево — очищенный ствол, из них плетут венки.

Пошка выпрямляется и поет вместе с ними:

— В красивой клети, на цветную кровать.

Он машет рукой, крокишкяйцы машут ему в ответ, а Тута, покраснев, вытаскивает из волос соломинки и

слышит, они начали новую песню и выкрикивают слова, обращаясь к ним обоим:

Едим мы зелень луга,
А пьем росу рассвета.
Ах, нам бы только вместе
Остаться навсегда!

Они уже в пути, крокишкяйцы.
Теперь вставай.
Вставай и ты.

Вот так кончилась эта ночь. Эта ночь. Ах, ведь еще что-то произошло в эту ночь? Тяжко оглядываться назад.

Кто-то идет по ложбине, по дороге, что отходит вправо от развилки в конце деревни, там, где начинается шоссе, где шли Фойгт и Гавен, погруженные в разговоры, в долгие раздумья.

Мы смотрим навстречу тому, кто поднимается вверх.

Так смотрят в печь.

Чернота. Она колеблется, дрожит, потому что горячие стенки над зольником начинают отдавать впитанный жар, — дымка, и ничего более. А дальше, в глубине под дровяным пеплом, глухой и тусклый, красный, вспыхивает и гаснет июньский месяц — бессильная частица пламени.

Из этой темноты исходит крик, несется вверх, останавливается на дороге.

«Блажен, кто верит; в муке, кто мелет», «Блажен, кто верит; в муке, кто мелет». И все снова и все то же самое, из оврага, с пыхтеньем, с паузами, то останав-

ливаясь, то пошатываясь на ходу, вдруг прерываясь проклятием. Из печи, из золы, от июньского месяца, который начинает ползти вниз, в овраг; крик вылезает наверх, теперь он у обвалившейся риги — там кончается овраг, и дорога поднимается на высоту замощенной улицы, где когда-то была деревня.

Деревня отошла, отодвинулась в другую сторону, на запад к железной дороге, и все взяла с собой, все, только того, что разрушилось, — не взяла. И больших деревьев, лесных буков не взяла, они совсем черные сейчас. И призраки французов, что стоят кругом, остались здесь, в этом овраге и на этой дороге — военной дороге прошлых лет. Здесь шел Наполеон, белый и синий, маленький, с быстрой речью; император — навстречу Бородину.

Там, у деревьев, снова крик. И сейчас можно видеть: на шоссе, там, где оно делает поворот и заканчивается, — шаркающие шаги солдат. Они медленно проходят мимо, они уже выходят из деревни, солдаты! И словно тащат за собой не за оглобли, а за постромки телеги. Направление — северо-восток. А крика больше не слышно.

Стань под деревом, горлопан, оглянись на свою пропитую жизнь, осыпай проклятиями свою шлюху. Мы все это знаем, это нетрудно узнать. Или иди дальше. Они давно прошли, эти лошади и телеги. В деревне все знают, иди в деревню.

Или оставайся. Падают вниз на жестких крыльях вороны, резкие голоса из одной темноты в другую, и так до шоссе внизу, где следы ног, следы копыт и колес — еще с тех пор, быть может. Закутанные, задрапированные в черные скелеты, от них не уйти.

«В муке, кто мелет». Человек не идет в деревню,

он возвращается от своей шлюхи и не идет домой. Все прошло, дорога пуста, никого и не было.

Но что же случилось? Началось ли это сегодня, в трактире у Платнера? Или раньше? Когда?..

Да, мы тебя узнали, можешь ничего и не говорить.

Ты сидел там, с этими мемельскими господами. И тебя тоже похлопывал по плечу господин адвокат. А с чем тебе надо покончить, а?

Да, да, верно, с Юзупайтом.

Покончить с Юзупайтом?

Ты должен ему что-то передать. Устно, приказ, ведь так?

Ты не забыл об этом? Хотел забыть? У своей шлюхи?

Так поторопись, уже поздно.

Юзупайт не будет спать. Он ждет, он уже получил известие. Тебя ждут, горлопан. Но теперь-то держись поспокойней. Тебе не страшно?

Юзупайт не знает, кто придет. «Один из наших», — сказали ему. Итак, он выйдет тебе навстречу. У Парeвиса, у опушки леса он будет ждать, у водопоя. Ты еще помнишь, что нужно сказать?

Ты вышел из деревни. Стало, по-моему, прохладнее, но не сразу, так что вздрогнешь и посмотришь на небо, — нет ветра, что дунет тебе в лицо или в затылок. Нет. Стало только свежо, по спине, между лопаток, пробежал холодок, как будто враз открылись двери и окна, сначала словно бы и незаметно, а потом тебя окружает свежий воздух, он вытесняет прежний, теплый и вялый, он окружает тебя, как вода, но невесомая. Стало светлее, незаметно рассвело, плывущий серый туман окутывает лицо; вот уже и деревья можно различить и крыши — свод, с которого туман

опускается, словно дыхание, вот и равнина стала видна и плоские выгоны — над ними разливается свет.

Вон река вытянулась, темная пока еще, скрытая полосами кустарника, и только вместе с поднимающимся светом река белеет и начинает блестеть.

Шоссе пересекает реку по железному мосту на двух каменных быках, как пересекло оно уже несколько рвов и прудов. По левую руку вынырнула из тумана река, туман стал различим на фоне черноты леса, речка течет на юг, к большой реке, мимо места, где кто-то уже стоит и ждет, и дальше вниз, к устью, где собираются все ветры этой земли. Там будет стоять другой — тот, кто ждет вас обоих, непременно вместе, Юзупайта и тебя.

Один из холмов — помните, тот, справа от дороги, по нему еще взбегает вверх тропинка, которая приводит к деревянным воротам, за ними лес тонкоруких крестов, что маршируют вниз к шоссе, — как деревья прошлогоднюю листву, стряхнул он с себя ворон и послал их вперед. Стая разделилась на отряды, высланы разведчики в молчаливые дозоры, снуют взад и вперед связные; они выкаркивают свои донесения следующим за ними крупным отрядам, и, наконец, медленно развертываются главные силы. Человека, который идет внизу по шоссе, все еще слегка покачиваясь и разговаривая сам с собой, сопровождает в воздухе развернутая, эшелонированная в глубину армия, сопровождает режущий протяжный крик: прерывается и снова тянется на той же высокой ноте, монотонный и все более громкий. Вот он опустился ниже, он почти над самыми деревьями шоссе, вот он обогнал человека, теперь он впереди, падает все ниже на деревню, что протянулась слева от шоссе вдоль ле-

са, туда, где поднимается берег реки — поросший редким кустарником песок, туда, где сейчас просыпаются птицы и перекликаются короткими возгласами перед первым полетом через реку. Литовские птицы.

Светает. Поторопись! Через мост, направо в лес. Мимо хутора.

Собака услышала тебя, и рвется с цепи, и заливается лаем тебе вслед. Не думай об этом, беги, если хочешь. Да, беги! Только не по дороге, а сразу к опушке.

Вот Паревис. Вот ров. Черные шеренги ольхи. Луг. К лесу подымается голый бугор земли. За ним водопой.

Лани, что стояли там — головы над прибрежным туманом, — убегают, пока ты обходишь холм. Вот стоит Юзупайт, это он.

— Я стою здесь четыре часа.

— Сегодня вас отправят в Германию. Никаких возражений, вот что я должен передать.

— Как так в Германию? — говорит Юзупайт.

— Никаких вопросов, — говорит человек.

Он расстегивает куртку, ему стало жарко.

— Я не понимаю, — говорит Юзупайт. — Сейчас всюду эти драки. Я для такого не гожусь. Я думал, я вступаю в культурферейн.

— В германский ферейн, как говорит фюрер.

— Отстаньте от меня с вашим фюрером.

Юзупайт поворачивается и хочет идти обратно в лес.

— Это все?

— Ты пойдешь с нами, Юзупайт!

Что прозвучало в голосе этого человека?

Юзупайт полуобернулся:

— Как вы сказали?

— Видите ли, господин Юзупайт, мое дело исполнить поручение, и ничего больше; только то, что я вам сказал.

Ты уступил однажды, Юзупайт. Ты уступишь и второй раз. Ты спускаешься к реке вместе с этим человеком. Ты ведь его уже однажды видел где-то, не правда ли?

Ты идешь с ним дальше. К устью, к устью Немана. Этот человек говорит:

— Если вы не хотите, это решаю не я, скажите господину Готшальку.

Ты и вправду идешь дальше, Юзупайт?

К реке, над которой совсем уже рассвело, и ласточки начали свой день шипящими криками и прямым как стрела полетом.

Ты и вправду идешь?

Уж не придет ли тебе на помощь козел? Ведь сейчас пора сенокоса: он носится вокруг и бодает копны сена и высекает пламя.

Не повстречалась ли на твоем пути дохлая черная собака?

Это значило бы, что одним чертом стало меньше. Быть может, тем самым, что ждет тебя сейчас. Слева от тропки перевернутый дерн. Видишь? Вспомни, что говорят об этом. Так прячется черт от Перкуна, вот что говорят. Или ты забыл про это?

Осталось последнее средство: сними кожух, выверни его наизнанку и погляди сквозь рукав. Тогда ты увидишь его, сатану, тогда ты узнаешь его и поймешь, как он сделал себя неузнаваемым, как он пришел к тебе, в чьем обличье и от чьего имени.

Об этом ты тоже позабыл, Юзупайт?

Вот он стоит. Узнаешь теперь? У самого устья, весь

еще в сумерках, как раз перед первыми потоками света.

— Вы не хотите, господин Юзупайт? Вы хотите уклониться, господин Юзупайт, сейчас?

— Тогда мы должны опустить вас на дно, вы вынуждаете нас к этому.

— Но я же не предатель, — кричит Юзупайт.

— Спокойно, — говорит пьяница и держит его.

— Слишком ненадежен, — говорит черт.

На этом самом месте, месте слияния Юры, которую называли тогда Навезой, и Мемеля, его легко узнать в имени Муммель, стояла крепость, об этом рассказывается в Хронике Иоганна Линдеблатта о деяниях германских рыцарей между 1360-м и 1417-м.

Этого никто больше не помнит. Крепость ордена, а ничего не осталось от нее — ни одного камня. Так же никто не узнает, куда исчез Юзупайт. Место, где навсегда исчезают следы германских деяний.

И вот теперь над рекой, над лугами поднимаются потоки света, настал день: воскресенье, 24 июня 1936 года.

Плывет челн по реке Юре. Вот он причалил к противоположному берегу. Вот подан знак через реку Неман. Теперь мужчины расстаются. Один идет через Валленталь, другой — через Шиленай; у обоих одна цель.

Сегодня в полдень в Битенае.

Глава IV

— Досадно, очень досадно.

— Но, право, господин Фойгт, — говорит Гавен с протестующим жестом.

— В последние годы так редко удается услышать вас соло. Досадно... Я вскочил с постели при звуках колокола, быстро нашел носки и галстук; и все же, несмотря на спешку, попал только к середине проповеди. Вы уже кончили. Что вы играли?

— Да ничего особенного. Бах, Соната до мажор, первая часть.

— «Там-та-там, та-там-та, там-та-там-та-там-та», потом на септиму дальше. — Фойгт знает в этом толк.

— А в самом начале, еще до проповеди, по просьбе присутствующих, как обычно, Largo.

— Largo — на все случаи жизни, оно всегда хорошо. Как вам понравилась проповедь?

— Такая же, как и везде, — правда, пожалуй, свободнее.

— А намек на сегодняшний праздник? С текстом троицы? Великие деяния не зависят от наречий, немножко смело, а?

— Наставление, которое подобает духовному пастырю.

— Не всем это было приятно слушать, я сидел сзади и заметил.

Неужто он и вправду так много заметил, профессор Фойгт? Его внимание привлекла картина на правой боковой стене, прямо у основания эмпор. Несомненно, старая, наверное, шестнадцатого века, если он не ошибается, чуждая остальному убранству. Она из другой церкви, ибо эта относится, вероятнее всего, к типу зальцбургских церквей, строгих зальных построек, их возводили австрийские изгнанники, когда после длительной эпидемии чумы начали вновь оживать опустевшие деревни. Эпитафия — деревянная доска в богатой резной раме с позолотой, сильно облу-

нившейся: некоему Бартелю Скриниусу, его изображение внизу, а наверху, под венцом, — скрижали завета, среднюю часть — приношение даров во храм — Фойгт разглядывал особенно долго. Пространство храма, лишь слегка обозначенное по краям, широко раскрыто в глубину; на заднем плане — по белой дороге приближается толпа крестьян с копьями и вилами; они идут за крестом, который несет рыжеволосый человек.

Картина словно пела, казалось, можно было расслышать: «Мы молим святого духа...»

Им навстречу, в правой части картины, впереди рыцарей и закованных в броню воинов, — белобородый на коне, без сомнения Альбертус, бывший великий магистр ордена, прусский герцог.

Тогда, вероятно, рыжий — это мельник из Каймяя, тот самый Каспар, который был посажен на кол после Землендского восстания в 1525 году, когда восемь тысяч человек доверились на Лаутаском поле слову герцога и сами себя отдали в руки дворян, на которых жаловались, в Кенигсберге, в Кведнау, в Каймяе. Значит, было уже однажды такое, что все стояли друг за друга: немецкие поселенцы и угнетенные местные уроженцы — пруссы * и жемайты ** с северного гафа.

Фойгт не мог оторваться от картины. Вот оно, недостижимое, то, что никогда не удавалось, только на короткое время, под ужасающим гнетом общей невыносимой беды. А другого пути нет?

---

* Пруссы — литовские племена, жившие между Нижним Неманом и Вислой.

** Жемайты — литовские племена, населявшие Западную Литву от реки Нявежис до реки Юры.

Новые сомнения возникают вместе с новыми мыслями. Но как же это может удасться? Жалобы, протесты, предостережения — все зря? Горькие слова деревенского пастора — ничто? Все надо показать в опере.

Они идут к вокзалу. Фойгт провожает Гавена к поезду. Гавен говорит:

— Господин Пошка был так любезен, он дал мне кое-что с собой вчера. Я тут записал рано утром. Набросок для ансамбля, восемь голосов плюс оркестр. Я думаю, вашего списка действующих лиц хватит? Я имею в виду сцену свадьбы: Донелайтис среди своих героев. Тогда эта сцена станет центральной; по-моему, вы так и хотели?

— Резкий диалог с амтманом... Он тогда будет предшествовать... Но, может быть, — новая идея, Гавен останавливается, — может быть, может быть, даже лучше следовать. Тогда понадобится что-то сильное, ударное — унисон всех свадебных гостей, например.

— Вот видите, — удовлетворенно говорит Фойгт.

— Да, господин Фойгт, я еду домой — руки чешутся, так меня захватило!

— Вот видите...

Теперь Фойгт поедет в Битенай на машине. Он договорился с булочником Эйвилом, который подрабатывает тем, что возит случайных пассажиров. Шляпа и палка, еще раз проверить записи, все на месте.

— Итак, можно ехать, — говорит Эйвил. Полчаса езды по гравию шоссе, мимо Полумпяя и Ужбичуса. Сначала немножко глины, потом все больше и больше песка, песчаные луга, рощица, много лиственных

деревьев — прибыли, конечная станция. Эйвил выражается по-городскому:

— Надеюсь, ничего не забыто, господин профессор?

Дел у него хватает, у булочника. Сейчас обратно, после обеда надо привезти сюда еще порцию булок и ситников — ситники побольше и покруглее, чем булочки, дело есть дело.

— Заехать за вами вечером, господин профессор?

— Благодарю вас, господин Эйвил, не нужно, я поеду пароходом.

Эйвил хочет развернуться, дает задний ход.

Тут вдруг по всей деревенской улице раздаются вопли:

— Вон они, вон они идут!

Уже слышно, кто там идет по дороге: музыка. Корнет-а-пистон, тромбон и басовая труба. И все дети из Битеная и все другие, которых привезли на телегах, в колясках, в бричках, бегут навстречу музыкантам.

Вон они, вон идут и трубят вовсю — еще бы, при таком скоплении народа! — и трубят без остановки. И так, в сопровождении всей оравы детей, окруженные гомоном и шумом, хлопаньем в ладоши, они входят в деревню и доходят до увеселительного заведения Вите, до самого сада. И только там, стало быть, конец.

Канкелат спешит навстречу Фойгту.

— Уже здесь, господин профессор?

— Даже успел проводить господина Гавена на вокзал.

— Здорово у него получилось в церкви, великолепно играл! — Канкелат, как говорят в таких случаях, под сильным впечатлением. — Артист! — Уж Канкелат в этом разбирается, он играет на органе и, значит, сопровождал сегодня утром Largo.

— Можете мне поверить, господин профессор, сладостные звуки, но никакой слащавости, уж можете мне поверить.

— К сожалению, я пропустил, — говорит Фойгт, — проспал, вчера поздно добрался до постели.

— Да, — говорит Канкелат, — да, старость не радость.

Он любит жаловаться, а Фойгт нет. Фойгт говорит:

— Ну, времени у нас еще достаточно, здоровый сон, по-моему, только полезен.

— Конечно, — отвечает Канкелат, — но это надо было послушать.

— Как звучал Бах вначале?

— Вы знаете, — говорит господин Канкелат, — меня он не вдохновляет. В известном смысле все это, разумеется, свято, Бах например, а если хотите знать мое мнение: пусть бы даже это исполняли ангелы, но в этом постоянном движении взад и вперед мне, право, слышится звук пилы.

— Но ведь темп здесь довольно медленный, — бросает Фойгт в раздумье.

— Тем не менее, — Канкелат остается при своем. — Бывают и нетороплиные пильщики. Вход здесь, господин профессор, — говорит он, хотя дверь в трактир нельзя не заметить: три ступеньки вверх, обе створки настежь.

Ну и народу же здесь!

Трактир, сразу видно, полнехонек. Фойгт еще раз оглядывает широкую площадь, где сгрудились повозки, и лужайку перед ней: везде люди и люди... Кого тут только не встретишь, такое бывает разве что на конной ярмарке.

Ашмутаты и Урмонайты, Брюзевиц со всеми дочерьми, Валлаты — вдевятером.

— Я не помешаю? — слегка сопротивляясь, Фойгт дает подвести себя к столу Канкелата.

— Что вы, господин профессор, что вы! — Гермина Канкелат в волнении делает книксен, от этого кровь приливает ему к лицу — ну что за пышечка, право, но ей это идет, так что пусть ее! — она быстро снова поворачивается и опускается на свое место.

— Сюда, господин профессор. — Канкелат усаживает Фойгта на свой стул. — Уж я как-нибудь устроюсь. Вы не откажетесь, господин профессор, что-нибудь съесть или выпить?

— Сыр со сметаной, — говорит Фойгт.

— Сыр со сметаной для господина профессора, — кричит Канкелат фрау Вите; а фрау Вите кричит дальше, на кухню:

— И побольше!

Это белый сыр, или творог, или как там его еще называют по-другому в других местах, политый сметаной, обильно политый. Немножко соли и тмина.

— Я вижу там — эти вчерашние господа, — тихо говорит Фойгт Канкелату и кивает головой на столик в углу, где Нейман, слегка приподнявшись, уже давно пытается привлечь внимание Фойгта подчеркнуто любезным приветствием.

— К сожалению, не могу выбраться отсюда, господин профессор: видите, какая теснота.

— Ну и оставайтесь на месте. — Фойгт почти пробурчал это.

На лице Канкелата появляется многозначительное выражение. Они ему не нравятся, господину профессору?

Фрау Канкелат не решается показать, как приятно ей недовольство профессора — ну прямо маслом по сердцу, маслицем по сердечку: выпивохи проклятые!

Фойгт получает свой сыр. Теперь отдадим должное еде.

Из задней комнаты — внимание! — вываливается Варшокс, совершенно пьяный. За ним этот тип Готшальк из культурферейна.

— Заткнись, ты! — говорит он.

Нейман тотчас вскакивает — трое его парней за ним, — протискивается из своего угла, теперь-то ему это сразу удается. Но Варшокс орет:

— Он не хотел в Германию, надо же, обхохочешься. Мы все хотим в Германию, мы...

Перед ним вырастает Нейман.

— Молчать!

Варшокс замер, словно пригвожденный к месту. Теперь он уже не шатается. Его хватают за плечи двое мужчин.

— Вон! — говорит Нейман.

— Я сказал только... — Такого голоса никто не слышал у Варшокса, он прерывается, голос, задыхающийся, хриплый: — Я же всегда говорил: домой, в рейх.

— Вон!

Нейман ждет, пока они выйдут. Садится с третьим своим собутыльником снова в угол. Неприятная история...

На улице патриотические женщины со своими «детьми королевы Луизы» соорудили кофейный стол. На улице расположилась музыка. На возвышении, рядом с музыкантами, — ящик с пивом. На улице

собрались любители кофе и зрители — жители Битеная — и дети жителей Битеная.

Но, гляньте-ка, сколько народу тянется к горе. Яркие, нарядные, в белых блузах, вышитых куртках, в платках, чепцах...

Фойгту хотелось бы немедленно отправиться за ними.

— Ну, кофе-то вы выпьете с нами, господин профессор!

Что ж поделаешь, значит, кофе. Справа — Канкелаты, слева — королева Луиза с мужем, то бишь скотопромышленник Фрелих с супругой. И разговоры их тоже надо выдержать: «прекрасный день», и «наконец-то наступил», и «каждый год», и «столько народу», и «в городе там, наверное, всё гораздо красивее».

Дамы королевы Луизы снуют вокруг с кофейниками, на подносах пирожные. Длинные столы, покрытые белыми скатертями, на козлах. Сидят на досках, положенных на бочки. Свежие цветы в горшках и кувшинах. Для детей — ведро молока. Но дети требуют лимонада. Ну, стало быть, уговоры, внушения, рев...

Рев продолжается, хотя взрослые вдруг умолкли, словно их выключили, и выпрямились на своих местах. В сопровождении старшего лесничего Симонайта к столу приближается владелец имения барон фон Драшке с супругой и обеими дочерьми; дочек украшают белокурые косы. Короткий обмен приветствиями с Нейманом, который медленно подходит к ним. Целует дамам ручки.

— Только на днях имел честь, господин фон Драшке...

Драшке ковыряет пальцем в ухе.

— Да, правильно, в гостинице «Берлинерхоф». Длиннющая речь господина президента ландтага.

— Больше он длинных речей произносить не будет, — говорит Нейман.

— Теперь сами будете, ха? — Драшке вытаскивает палец из уха, грозит им этому господину адвокату, а потом начинает сосредоточенно вытирать свой палец, целиком погружаясь в это занятие.

Застыл на месте — и все, только толчок в поясницу заставляет его двинуться дальше. Госпожа баронесса подталкивает его с полной непринужденностью, а дочери тем временем поглядывают вокруг, высматривая молодых представителей мужского пола, — не так уж их много здесь.

— Господин профессор! — Канкелату очень хочется показаться со своим гостем, но у Фойгта лопнуло терпение, теперь он решил идти на гору, она манит его, и как раз сейчас Канкелат не может предложить свои услуги господину профессору, он должен присутствовать здесь, господин фон Драшке скажет несколько приветственных слов:

«Дамы и господа, передовой пост германской нации, так держать, верность превыше всего». И все в том же роде. Не хватает только: «Да здравствует его величество!» Нейман, чеканя шаг, удаляется, на лице язвительная усмешка. Оба его собутыльника снова вынырнули около стола. Тощий докладывает:

— Посадили в лесу, чтоб остыл. Спит.

— Готшалька сюда, — приказывает Нейман. — Встретимся у машины.

Приходит Готшальк.

— Вы проболтались, Готшальк?

— Никак нет. Ничего не понимаю.

— Кто же тогда?

— Не было названо ни одного имени, — говорит Готшальк.

— Так, так. А как зовут этого типа?

—Варшокс. Крестьянин из Абштейна.

— Позаботьтесь о нем...

Итак, господин Готшальк, чтобы позаботиться о нем, придется вам отправиться в лес. Варшокс уже проснулся. И кто же, вы думали, сидит подле него? Пьяница, горлопан с полупустой бутылкой в руке.

— Так, так... — Интонация Неймана еще звучит в ушах Готшалька; кроме того, с этими людьми он чувствует себя уверенно.

Однако не будем мешать господам, у них есть о чем потолковать.

Мы пойдем за Фойгтом, от опушки наискось по лугу. Только что музыка снова начала: «Свобода, как я ее понимаю». Что за ужасные звуки издает труба дедушки Ламмса. Обычно они у него скачут, а тут он медленно выдувает их, и тромбон вынужден следовать за его темпом, а корнет-а-пистон несколько раз просто умолкает. Слабая грудь, а?

Фойгт идет к горе напрямик, но потом почему-то сворачивает. Вырвавшись из-за стола, он спросил у глазеющих битенайских мальчишек, как пройти к раскопкам. Он может ненадолго заглянуть и туда.

— Там внизу, за кустами крушины.

Значит, туда, а потом держаться правее, все это недалеко.

Значит, здесь. Сразу видно, где копали: ямы засыпаны, но песок осел, и в плоских углублениях скопилась грунтовая вода.

А там, где начинается трава, сидит Пошка, он уже

увидел Фойгта, отпускает Туту, она тоже поднимается и подходит к Фойгту.

— Вы уже здесь, господин профессор?

— С патриотической частью я разделался: кофе, пьяные и речи. Теперь я хочу на гору.

— Там плохо, господин профессор.

— Почему плохо, господин Пошка? Я должен поглядеть, ради этого я здесь.

— Ничего приятного, господин профессор. — Пошка немного смущен.

— Но я ведь видел, как молодые люди поднимались на гору, удивительно красивое зрелище, такие краски.

— Ах, господин профессор, представление праздничное, но настоящая драма ужасов. Великий князь — Vytautas Didysis, Didkunigaikstis — все время топчется на камне, это несерьезно, а лаймы и улаймы * в белых рубахах вокруг него. А лаумы ** в синих. И Перкунас обещает князю Пруссию, и Польшу, и Новгород, и Киев в придачу, и Bangputys — Балтийское море, и Черное море, и Pajibelis ***, обвешанный черными платками, ходит взад и вперед и кричит: «Tokia bèda» и «Asarų pakalnel» ****

— Но почему бы ему, господин Пошка, богу погибели, не говорить о юдоли слез и печали?

— Я не это имею в виду.

— Понимаю. — Фойгт тычет палкой в песок.

---

* Лаймы и улаймы — олицетворение счастья и несчастья в литовском фольклоре.

** Лаумы — добрые колдуньи.

*** Пайбелис — бог зла, погибели.

**** «Такое горе» и «Юдоль печали».

— Вот, значит, где это место? Здесь были последние раскопки?

Пошка смеется. Туте их разговор кажется слишком долгим, она просто подходит к ним и просто протягивает руку Фойгту.

И знает лучше, чем Пошка, что здесь происходило прошлым летом и чем вообще знаменито это место. А мы ее подробные разъяснения изложим в двух пунктах.

1) Говорят, что здесь была зарыта военная казна Наполеона тогда, при отступлении. А через много лет здесь появился французский офицер, только уж очень старый и совсем слепой, и он привез с собой чертеж. Но с тех пор тут все изменилось, выросли деревья, кустарник. Рыли в трех местах, но на клад так и не наткнулись.

2) Потом вся эта история заглохла, но через тридцать лет объявились новые охотники, на этот раз вместе с людьми из Тильзита. Снова ничего. И так это повторяется каждые десять-пятнадцать лет, и каждый раз копают на новом месте, иногда и на том же самом, только метра на полтора поглубже. А в прошлом году здесь развернули настоящее предприятие. Куча людей, ограждения, и все тайком. Они заключили самое настоящее соглашение с правительством в Каунасе. А все равно ничего не нашли...

И тут в самый раз добавить третий пункт: они, несомненно, придут еще. Тогда уж они перероют весь Битенай. Было бы смешно ничего не найти. А многие говорят, что денег этих давно уж и след простыл. Вытащили в первый же раз, попросту унесли тайком ночью, и все.

— Благодарю вас, фрейлейн, — говорит Фойгт. —

Пожалуй, мне уже пора на гору. Между прочим, господин Пошка, Гавен загорелся, он придумал по меньшей мере три больших музыкальных номера. Интересно, что это будет.

И с этими словами профессор Фойгт удаляется.

И лезет на гору. Это немного утомительно. И тут он садится. В конце просеки. Праздничное представление — эта торжественная драма достаточно шумна. Хотя далеко не столь помпезна, как описал Пошка. Во всяком случае, сейчас. Как раз сейчас войско литовских жемайтов расположилось лагерем у Luccowe на Volhynien и вспоминает в жалобных песнях далекую родину, ибо давно скитаются они по чужбине, пока Витаутас ожидает корону, которая уже в пути, а он так и умирает, не дождавшись, 27 октября 1430 года, восьмидесяти лет от роду.

Снова траурные песни, потом лаймы и лаумы в синих и белых рубахах, вот и бог смерти Пеколис; он поведет князя туда, куда тому совсем не хочется идти.

Песни очень хороши. Жалобные песни, медленные, протяжные — простое чередование интервалов, — не требующие аккомпанемента; они свободно летят по воздуху, как дождь и ветер.

Некоторых из них Фойгт еще никогда не слышал. Он поднимается и стоит, прислонившись к дереву. И пока представление, сопровождаемое вздохами и прочувствованным сморканием, оканчивается, Фойгт пытается запомнить последнюю мелодию, напевая ее про себя, к нему откуда-то сбоку приближаются два господина. И так как трогательная пауза уступает в этот момент место восторженному воодушевлению и те, кто сидел, вскакивают, чтобы поразмять затекшие

ноги, а те, кто в волнении простоял все время, садятся, чтоб отдохнуть, старший из двух, бородатый, обращается к профессору Фойгту:

— Вы здесь, господин коллега?

Фойгт оборачивается:

— Господин Сторостас, — радостно говорит он. И добавляет: — Я слушал с огромным интересом. Это ваше новое произведение?

— Как вам сказать, — говорит профессор Сторостас. — Сильно сокращено и довольно свободно обработано. Я думал скорее о трагедии рока, чем о культовом представлении.

— Но очень выразительно, господин профессор, очень выразительно.

— Рад слышать. Господин редактор Шалуга, разрешите представить его прямо здесь, осуществил постановку, и ему же принадлежит сценическая редакция текста.

Фойгту не нужно искать литовских слов.

— Господин Шалуга, если я не ошибаюсь, из Шауляя, не так ли? Я знаком с некоторыми вашими статьями в «Keleivis».

«Keleivis» — что значит «Странник», между прочим, литовская газета. Выходит уже несколько десятилетий.

Господа ведут разговор. Фойгт — только по-литовски, Шалуга — на изысканном немецком, Сторостас то так, то этак. Фойгт, конечно, расскажет про оперу, и ему неизбежно зададут вопросы, на которые сразу и не ответишь. Но его не оставляет надежда и в этом разговоре тоже. Надолго ли ее хватит?

Сегодня она еще есть. Но надолго ли ее хватит?..

Шалуга говорит:

— Все это уже в прошлом, господин профессор.

Фойгт смотрит на него, он слегка задет. В поучениях он не нуждается. Сторостас молчит.

— Я понимаю, господин профессор, вы имеете в виду кенигсбергские и тильзитские попытки прежних лет: несколько десятилетий назад и еще раньше. Крейцфельд, Реза, Пассарж, Салопиата, попечительства, общества, Литовский семинар. Чистые лингвисты Остермайер, Шлейхер, Носсельман, Беценбергер, а еще раньше «Грамматика» Даниэля Клейна, о Куршате я сейчас не говорю — все это в прошлом.

— Вы действительно так думаете? Куршат — только лингвист? Или Даниэль Клейн? О нем говорит Остермейер в 1793 году в «Истории литовских песен»; ученый, набожный, деятельный, много полезного сделавший для литовских церковных общин, но до конца жизни глубоко несчастный человек; наградой за его старания и преданность была неблагодарность, неслыханная неблагодарность, а его завистники и гонители покрыли себя неизгладимым позором. Это Клейн. А другие: Теофиль Шульц, Кристоф Саппун, Иоганн Гуртелиус, Леман в Мемеле, а Фридрих и Кристоф Преториусы. Сколько они сделали!

— Хорошо. Я неправильно выразился, я не хочу умалять их заслуг, я питаю к ним глубочайшее уважение, мы очень многим обязаны иностранным филологам, особенно немецким. Но сейчас, что осталось от этого сейчас? Своего рода этнографический музей — к тому же воображаемый!

— Я убежден, — говорит Фойгт кратко, — что следую доброй традиции.

— Вы следуете ей, господин профессор. Господин профессор Сторостас тоже. Но не окажетесь ли вы

завтра одинокими? Не было ли все это в значительной мере романтизмом и не осталось ли это уже позади? Потому что с некоторых пор существует Литовское государство. И крестные отказались от крестника. А может быть, есть иные причины, может быть, речь идет о другом — о насильственном присоединении Литвы, а следовательно, об ее уничтожении. Это государство, каково оно сейчас, не оправдает наших надежд, с самого начала это было ясно, слишком уж оно скроено по старому образцу, и к тому же люди Вальдемаруса в правительстве!

«Пожалуй, он коммунист, этот господин Шалуга, — думает Фойгт, — Гавен, чего доброго, испугался бы». А вслух он говорит:

— Темой оперы, над которой я работаю, будет жизнь Кристиана Донелайтиса.

— Господин профессор Сторостас уже говорил мне, и я думал об этом и не пришел ни к какому выводу. Я нахожу сюжет прекрасным и привлекательным — мы все должны быть благодарны вам, но какую цель вы перед собой ставите?

— Опера, — говорит Фойгт.

— О Донелайтисе, — подчеркивает Шалуга.

— Меня вдохновляет, — Фойгт говорит медленно, как будто заново обдумывая каждое слово,— меня вдохновляет жизнь, я не знаю, может ли она служить примером другим, вероятно, нет, наверное, нет, — жизнь деревенского пастора; прусская деревня с литовским языком, человек, получивший немецкое образование, он пишет свои произведения на языке, который в то время мог только ограничить их влияние. Не думал же он, не мог же он думать, что крестьяне будут читать его стихи, а кто тогда?

— Им он читал проповеди, весьма сильные, — говорит Сторостас.

— Да, конечно. — Фойгт еще не кончил. — Я хотел бы знать — обычно считают, что он разочаровался, ушел в болезнь, сетовал на судьбу. Но так не могло быть. Чистота нравов нарушилась проникновением немцев, «немецкое» по-литовски «Woketis», это слово составлено из двух «Wogt» и «Keikt» — «кража» и «проклятие». Вы помните это место у него? У моей матери, у нее была присказка: «Если увидишь во сне немца — значит, попадешь в дурное общество».

— Выходит, он враг немцев, господин профессор?

— Нет, не думаю. — Фойгт чувствует, что не поспевает за этим журналистским темпом.

— Значит, что-то другое?

Теперь Шалуга стал несколько колюч. Но почему? Для него это слишком медленный темп.

— Да, — говорит Фойгт и очень обдуманно формулирует: — Он имел в виду господствующие отношения.

Очень просто, очень медленно сказал это Фойгт и очень неожиданно для всех троих.

— И вы хотите показать это в вашей опере? — Сторостас потрясен.

Ему следовало бы обнять своего коллегу, но он так изумлен, что забывает это сделать. Стоит и не знает, что сказать. А может быть, ему мешает нечто, он и сам еще не знает что.

Фойгт уже ответил:

— Да, я попытаюсь.

И через мгновенье.

— Для меня была бы очень ценной ваша помощь, господин Сторостас. И ваша также, мой юный друг.

Разговор. Но весь из сплошных недомолвок. Что было в нем сказано?

Одни только надежды. Опера. Фойгтовское «да, я попытаюсь», все, что с этим связано: чудесные ансамбли Гавена, дуэты, монологи, хоры.

Шалуга подходит вслед за ними к обрывистому берегу. Там они стоят на крутом обрыве и смотрят на Капелленберг за рекой и за лугами на другой берег.

Пароходик в последний раз сегодня с трудом поднимается по реке к Рагниту, а потом к Маячной горе. Сразу за ней он причалит в Нижнем Эйсуляйе, а вечером, на обратном пути, захватит Фойгта и Сторостаса, которые будут ждать его внизу на причале. И думать свои думы.

Все сущее проходит поутру
Своим путем сквозь тесноту земную.

Так скажет Фойгт и мало что прибавит к этому.

Опера? Кто захочет, или, правильнее, кто сможет ее поставить в Германии сейчас? А в Литве, как обстоит дело здесь? Что там, что здесь — все слишком похоже.

А у Сторостаса свои думы.

Нам-то предъявляют требование за требованием. А сами притаились и молчат. Так по крайней мере это выглядит.

Сторостас едва ли слышит шум вокруг. Хотя его приветствуют со всех сторон как весьма известное и уважаемое лицо.

Но они, наша троица, хотят немного побродить среди людей. Для многих праздник только начинается. Песни и танцы и четвертинка Meschkinis, то бишь медовой водки. По мне и спирт из монопольки хорош,

по-простому Puske, а вообще-то название его Degtinis. По мне и побольше хлебнуть не беда.

Сторостас хочет еще кое-что рассказать Фойгту. В полдень он навестил здесь неподалеку одного человека, он поздравил его, но тот не смог ответить, как отвечал прежде.

Нет, если как следует вдуматься, он все же ответил Сторостасу, об этом мы теперь и поговорим, или лучше Сторостас сам расскажет, как все было.

Глава V

Ну что за июнь нынче!

Крушина пахнет так, что только держись! Даже этот жалкий, бледный куст с розовыми зонтиками, эта сахарная вата, и тот расцвел.

Повалишься на траву, на обе лопатки, вытянешься. Теперь пусть ничто не двигается, остановится там, где стоит. Скажешь: я умер.

И руки подложить под голову как следует.

Потом повеют ветры в последнюю неделю июня, холодные и горячие, в них прячутся грозы, но прячутся плохо. Слышишь, вдали уже громыхает.

Но за две реки, за дремучий лес на юге всякий день не пойдешь, не сходишь просто так, будь ты даже грозой, нужно выбрать подходящий денек.

«Ну вот и позади все эти истории», — скажешь ты вслух и подумаешь, что вот прошли недели и месяцы: долгая весна после долгой зимы, а может быть, позади и бешеные прыжки, которыми продвигалось лето: кулаками, локтями и крепким затылком, запрокинув

голову, оскалив зубы, напрягая жилы на лбу, а горло в синих кровоподтеках.

Грозное зрелище.

Вот оно, лето, наступило, оно здесь, пришел этот день, такого дня еще не бывало, пришел и здесь, на этом берегу, на этой горе.

Теперь уж так и будет. Эти краски — рожь желтая, ячмень почти белый, а овес еще зеленый. А маки здесь лиловые и белые, красные — редкость. Картофель цветет. Прежде чем уйти, день покажет нам еще и другие краски, они у него в запасе.

Северный отрог горы сплошь покрыт лесом — в лесу начинается и в лесу кончается, еще прежде чем лес переходит в низкий подлесок, — там, наверху, есть вырубка — длинная полоска поля и выгона.

На склоне, поближе к вершине, стоит дом в яблоневом саду. У дома — пристройка для коровы, трех овец и кур.

Я часто бывал в этом доме. Я все хотел взять вас с собой, господин коллега, быть может, вы помните. Я рассказывал вам о его владельце, некоем Индре. Он жил там совсем один после смерти жены, обходясь самым малым.

Он жил там, и я хотел навестить его сегодня и не застал. Тишина, даже скотины нет. Я постоял и ушел.

Вот сверток бумаг, он перевязан шнурком, оставлен для меня у одного из жителей деревни прошлой осенью, а я получил его сегодня, всю зиму он пролежал, засунутый за балку, и вид у него соответствующий; потемнел, края покрылись плесенью. Листки бумаги, некоторые исписаны. Письма. Книга, переплет и начало

текста оторваны, как видите — шлейхеровское издание Донелайтиса. А на полях всюду пометки, посмотрите, вот: «Я тоже пережил это. 14 октября 1882 года» и «Правда, так мы живем» и «Бог поможет. А если он не поможет, даст ли он совет?»

Я вспоминаю. Я приходил сюда всегда летом. Я заставал его на картофельном поле с мотыгой в руках, или он гнал домой коз. Однажды поздней осенью он собирал яблоки, когда я пришел. Он стоял на стуле, голова и плечи почти утонули в листве. Он молча слез и протянул мне яблоки.

Ему было тогда уже за восемьдесят. Мы сели перед домом, и он рассказал мне свою жизнь: как он женился, как плавал перед тем долго по морю, и девушка, которая была еще ребенком, когда он покинул родительский дом, ждала много лет, пока он вернется. Как умерли их дети, сын, как и он, — моряк.

Вот листки, на некоторых есть даты, поглядите.

«Я была у твоей матери. Я сделаю все, как она велит. Ты позвал меня, ты женишься на мне, когда вернешься. Я не посылаю тебе этого письма, ты и так знаешь, что я написала. 30 июля 1874 года. Подпись: Марта».

И вот это тоже относится сюда:

«Письменное обязательство. Написано 29 сентября 1872 года. Что я тебе, Марта Грикус, говорил, правда, и будет так. Мы поженимся, когда я вернусь. Я верю тебе, и ты веришь мне тоже».

И вот еще: сын Арманас. Умер двадцати лет от роду в госпитале в Бостоне, в результате драки. И приписка отца под этим сообщением: «Он унаследовал от меня эту неудержимую вспыльчивость, но его никто не

предостерег, как предостерегали меня. Смогу ли я еще постичь ту кротость, которой учит нас господь?»

Завещание, доверенное мне. Я расспрашивал всех вокруг, как он умер. Он еще успел разделить свое имущество между соседями, вернулся домой, а когда вечером пришли люди, он был уже мертв.

— Я понимаю, — говорит Фойгт, — все очень просто. Вы прочитаете и сохраните это. И все, словно ничего и не было.

И Сторостас отвечает:

— Вы думаете, что это тоже имеет отношение к вопросам и сомнениям Шалуги?

И в ответ на фойгтовское «да»:

— Пожалуй, вы правы.

Глава VI

Они спускаются с горы. Идут через площадь.

Фойгт на минутку заглянет к патриотическим дамам, которые убрали уже остатки прежней роскоши: выпитый кофе, то бишь посуду из-под него, и противни из-под оладьев, и ведра, кувшины, и цветы тоже. Все общество, сытое и пьяное, торчит теперь в зале у Вите и продолжает праздновать вовсю.

— Мы еще увидимся, господин Сторостас.

Сторостас идет в деревню. У него здесь много друзей, он поэт, быть может, немного высокопарный, но простые люди любят это. «Тени предков» или «Мировой пожар». Аллегорические пьесы. Доктор Вильгельм Сторостас. Он зовет себя Vydunas.

Перед трактиром все еще играют детки. Считалки на любой случай.

Эне, бене, кочерыжка,
Всем евреям будет крышка
Сатана ногою топнет —
Моисей от страха лопнет,
И насест его прихлопнет.

А какие считалочки внутри, в зале?

Поляки. Русские. Противоестественная граница, можно посмотреть через нее, там родительские могилы, раньше цвели петунии, теперь — ничего, туда не пройти. Низшая раса. Мировое еврейство. Нейман держит торжественную речь.

По правде говоря, сказанное выше не совсем верно, потому что Нейман сам живет в Мемеле, где жили и его родители. Но это не прозвучало бы. Так действует лучше.

— Умеет он говорить, — замечает Швейзингер, — за душу берет. Еще кружку пива и стаканчик Puske тоже.

Весьма громкая речь.

Фойгт стоит, прислонившись к трактирной стойке. В дверях зала молодой крестьянин весьма благожелательно хлопает по заду хозяйскую дочку, которая спешит мимо с бокалами на подносе; она кругленькая, и, по правде сказать, ей уже за сорок.

— Лапы прочь от ребенка, — строго и благонравно звучит голос фрау Вите.

Ну да, конечно, чистота нравов, ничего не поделаешь, бедный ребенок. Может быть, после...

— Хотите пройти в зал? — говорит молодой крестьянин. — Я добуду вам место.

— А вы? Вы не пойдете? — спрашивает Фойгт.

— Больно речи длинные, — отвечает молодой че-

ловек. — Утром в церкви, теперь здесь. Но зато будет представление.

Итак, останемся снаружи, мы и здесь услышим достаточно.

Но сейчас Нейман, кажется, забрался слишком высоко. Голоса на такой ноте хватает на два-три слова: «свинское хозяйничанье» и что-то еще в этом роде, потом он не то подавился, не то захлебнулся, сразу не поймешь, он умолкает, и следующие звуки вырываются низким и хриплым рычаньем.

Что это?

Смешки в зале? Одиночные, но смешки.

Странно, очень странно.

Нейман прерывает речь, на этот раз по собственной воле. Потом с трудом возвращается к естественному тембру.

— Кто-то хочет мне возразить?

И как ответ — и вправду ответ! — другой голос, хорошо знакомый всей округе, но выговор не местный:

— Отправляйтесь домой и кричите там себе на здоровье!

Молодой крестьянин отворяет дверь.

— Это кто же? Генник?

Ну, конечно, каменщик Генник. Саксонец, появился здесь в двадцать первом, осел в Моцишкяе, работящий парень, умелый, но ведет неприятные разговоры о крестьянах: у них, мол, и коровы маслом с...т, и о новых властях по ту сторону границы: «Это клуб горлодеров»; а к этому еще и объяснение: «Они все уже присягнули новоявленному мессии». Такие речи и почище. Если б Нейман, как подобает воспитанному человеку, ответил бы на эту грубость: «Считайте, что я дал вам моральную пощечину», Генник бросил бы невоз-

мутимо; «А вы — что я вас морально застрелил». И издал бы при этом всем известный и повсюду выражающий неуважение неприличный звук. Потому-то кое-кто и отворачивается, когда появляется Генник.

Он сидит здесь, и ему наплевать, что парни Неймана поднялись и повернулись лицом к публике. Рядом с ним Антанас, батрак из Моцишкяя, могучий как дуб. Откуда же он здесь взялся? Разве мы его не видели только что на горе?

Итак, продолжайте, господин Нейман. Но теперь его хватает ненадолго. Перебить — значит перебить. Нить оборвалась. Слушатели нашли время — а это погибельно для всякой речи — определить, чего им хочется: представления, а перед этим еще и пива.

Следовательно, непредвиденный жалкий конец, а как хорошо поначалу проходил этот митинг, с некоторых пор так именуют подобные собрания, и сразу конец — и все. Готшальк констатирует: «Коммунистическая свинья»; парикмахер Бергер: «Ну, этому мы покажем, пусть только стемнеет»:

— Вчера Пошка, не так ли? А сегодня Генник. Несомненно, кроме них, есть и другие. Быть может, вы запишете, господин Бергер, вот бумага.

А теперь — театр.

Представитель культурферейна Швейзингер выходит вперед. Поклон в сторону супруги господина барона, а в остальном — истый германец.

— Сейчас артисты покажут нам нечто классическое. Про королеву Луизу. Ух, и долго же они готовились!

Туш. И аплодисменты, потому что занавес открылся слишком рано, и учитель Шимкус стоит посреди сцены с молотком в руке, на плече у него шаль, кото-

рую за сценой ищет королева Луиза. Громко и отчетливо:

— Куда, к черту, запропастилась эта дрянная тряпка?

— С ума тут сойдешь! — с горечью говорит Шимкус зрителям и бросается вон со сцены.

В театре, как известно, всегда так.

Наконец начинается.

У них есть и суфлерская будка, и кто в ней сидит, сразу видно, потому что господин Канкелат до половины высунулся оттуда и машет рукой в сторону левой кулисы: мол, смелее.

Наконец-то появляются девушки королевы Луизы, числом шесть, одна за другой, премило держась за руки, красные от смущения, одетые в васильково-синее, с венками из васильков на голове. Им надлежит произнести пролог:

В тяжкий для Пруссии час
В одном городке, что близко от нас,
Где воцарились с давних времен
Немецкий порядок, дух и закон...

Так начинается и так продолжается. Фойгт отправляется в зал. Надо все-таки поглядеть. Деток разыскали и притащили сюда с лужайки — ведь предстоит нечто весьма благородное.

— Фрау Урбшат! — кричат вилькишские ребята, когда на сцене появляется обер-гофмейстерина Фос.

Они ее сразу узнали, потому что у нее распустилась фальшивая коса, с ней всегда это случается.

Итак, появляется обер-гофмейстерина, а фрау Фрелих уже стоит здесь и говорит:

— Моя дорогая Фосхен!

А фрау Урбшат говорит:

— Моя любимая королева!

Она должна предупредить любимую королеву, что простой народ всей душой жаждет ее прибытия, но королева ничуть не удивлена, она задумчиво общипывает василек.

— Посмотрим, — говорит она или что-то в этом духе.

Потом обе наскоро проливают слезы, потом фрау Урбшат уходит, чтобы привести в порядок свой пучок, а фрау Фрелих плачет еще немного одна.

В следующей сцене мы уже среди народа. У фрау Фрелих это получается очень хорошо — рот сердечком, губы в трубочку и поглядывая по сторонам:

Как чисто здесь и как опрятно!
На лавке вам сидеть приятно?

Стало быть, мы в гостях у бедных, но честных детей своей отчизны. Фосиха, с заново накрученной косой, достает из коробки сласти и игрушки, премиленькие вещички, и вкладывает их в руки своей королеве, а та слаще сладкого говорит, что подарит их деткам.

И каждый ребенок в зале чувствует себя так, словно это ему подарят деревянных лошадок или оловянных солдатиков. И всех охватывает разочарование, когда фрейлейн Зельник, вилькишская учительница, решительно хватает и собирает все и чересчур высоким голосом кричит в публику:

Ах, ваше величество, вы слишком щедры,
Я все это сейчас поставлю в горку!

Одно из двух: либо это подлинные исторические слова, либо поэту Брюфишу изменили тут рифмы.

Фойгт смеется. Но, как бы там ни было, все равно детям в зале не очень-то по сердцу королева, которая терпит подобную мать из народа. Она должна была бы снова отнять у нее все игрушки и раздать детям.

У фрау Урбшат опять распустился пучок. Она пытается удержать его сначала одной, потом обеими руками и со злостью топает ногой. Тут раздается первый взрыв аплодисментов. Канкелат снова высовывается из своей будки, чтоб унять зрителей. Теперь появляется Папендик, Папендик из Наусаде в роли короля, и произносит две отрывочные фразы, ибо известно, что король был немногословен; он вызывает фрау Фрелих — прибыл узурпатор, император французский:

У узурпатора прием...
Смиренно мы к нему войдем...

Теперь женщины снова плачут, но у обер-гофмейстерины Фос слезы перемежаются добрыми назиданиями; у нее всегда наготове свод правил хорошего поведения.

С ней все время так: либо она дает наставления королеве, либо плачет. Так и не отнимает платок от лица. А королева так захвачена игрой или растрогана, что плачет настоящими слезами; сразу видно, как у нее краснеет нос, — тоже широко известное местным жителям свойство фрау Фрелих.

Остальное, пожалуй, можно и опустить. Вот только на Наполеона стоит поглядеть: этот Наполеон — коренастый мужчина с брюшком. Владелец сыроварни Дюррматт, швейцарец, играет сильно, во французском вкусе: выпученные глаза, быстрые движения, слова все в нос.

И наконец, чтоб утешить королеву, которая еще

много раз плакала, — последний акт. Его мы уже знаем со вчерашнего дня: бедные, но преданные уроженцы прусской Литвы прославляют свою несчастную королеву, многие на ломаном немецком языке. Прекрасное действие, на сцене полно людей, синие девушки королевы, женщины, дети... Хор за сценой: «Я из Пруссии, вы знаете мои цвета?» А королева: «Мой славный, преданный народ».

Потом стук, как вчера, когда прусские литовцы бухались на колени. Сейчас они повторяют это. И что ни говори, а повторенье — мать ученья, и сегодня грохнуло как следует.

Тут уж восторгу не было предела.

— Пива сюда, — заорал Вите в дверях.

Швейзингер бросился на сцену; его, как и следовало ожидать, осенила идея, и хор грянул: «Мы победоносно разобьем Францию».

И в самый раз — весь зал подхватил. Веселый народ, что ни говори.

А праздник продолжается, вот теперь-то он достиг высшего накала. К тому же темнеет.

Теперь очередь деток, шествие с фонариками. Они движутся вокруг редких деревьев, словно процессия светлячков по лужайке, с прелестной песенкой «Фонарики, фонарики».

Впереди девочка, прямая, как свечка, ступает шаг за шагом, очень внимательно. А двое, следом за ней, сразу же поссорились и бросились друг на друга с палками, фонарики тотчас погасли, оба, детей разнимают, свечи в фонариках снова зажигают. Дальше все идет мирно.

На опушке возле лошадей, чуть поодаль, стоятВаршокс и горлопан. Варшокс уже снова овладел собой.

— Ничего они мне не смогут сделать, ничего.

И после продолжительного глотка из бутылки:

— Они у нас в руках. Если они что, мы пойдем в суд, а Вешвиле.

Горлопан не убежден в целесообразности подобных действий. Возможно, Варшокс знает не все...

Во всяком случае, горлопан говорит:

— Надо притормозить, Варшокс. Как я с Готшальком, понимаешь, ты же видел днем? Просто отрицай: ничего, мол, я не знаю и имел в виду другого.

— Так ведь я ничего и не знаю, — говорит Варшокс и сразу же успокаивается: он меня ни о чем больше и не спрашивал, меня сразу увели, а я ничего и не знаю.

— Ладно, теперь-то ты знаешь, я тебе сказал. Если его еще принесет, так ты имел в виду Штейнера с узкоколейки, он не захотел переводиться в Инстербург, помнишь, когда еще можно было.

— А если Нейман придет?

— То же самое. Стой на своем. Стой на своем — и точка. Все время тверди одно и то же.

— Ладно, прозит!

— Ничего они нам не сделают!

— Что они могут! Подумаешь, мы сами с усами!

И снова основательный глоток из бутылки.

— Никому нас не запугать! Нам палец в рот не клади!

Сказать-то легко. Но как страшно вдруг поползли мурашки по спине: легкое щекотание — и сразу ледяной холод. Словно внезапно треснула куртка.

— Видел ты его? Идет?.. — Шепотом вопрос.

— Нет. Еще нет. — Шепотом ответ.

И внезапное озарение у Варшокса, словно прямо с неба:

— Мы затеем большой скандал с литовцами, большую драку. Кто мы есть тогда? Тогда нам никто ничего не сделает, мы герои.

Вот оно, решение вопроса. С ним можно выходить из лесу. С ним можно идти на луг. С ним можно в трактир. С ним можно на свет.

— Надо только еще несколько человек: парикмахера Бергера, сыновей Валата, Швиля, Урбшата. Сделаем.

А как это сделать?

Очень просто, за столом. Парикмахер Бергер говорит: «Ясно, тут кое-кто внесен в список».

Урбшат торопится: сейчас зажгутся костры на воде. Рагнитцы и паскальвайцы уже начали, пауядварцы тоже.

Имеются ввиду ивановы огни на немецкой стороне; там их называют огнями в честь летнего солнцеворота.

— А как же насчет нашего дельца?

— Ясно, ты мне скажешь тогда.

— Сам увидишь, — говорит Варшокс, — мы начнем внизу.

Наверху, на горе, у литовцев, пламя поднялось уже высоко. Сначала они поют. Огонь горит на камне ровно, только иногда ветер врывается сверху в открытый круг и разбрасывает клочья пламени в стороны. Тогда быстрые белые полосы света добегают почти до плотной стены елей, до частокола стволов, почти до самого кустарника. И вот они опять исчезли, и только на приподнятых лицах лежит свет. Теперь, когда молодые люди мало-помалу разбрелись, спустились вниз с горы, а оставшиеся сдвинулись потеснее, кто-то начинает рас-

сказывать. Старинная легенда про девушку Нерингу, которая была такой сильной и большой, выше самой высокой ели, она могла вытащить повозку вместе с лошадьми, застрявшую в песке дюны, а в бурю удерживала корабли в гавани или, ухватившись за цепь, втаскивала их для безопасности в устье Немана. Вместе с рыбаками со всего побережья она построила длинный вал для защиты от девятиголового морского дракона Гальвирдаса, который мог бушевать теперь только в открытом море — правда, с удвоенной силой. Из Жемайтии пришел охотник Наглис, убил дракона и взял Нерингу в жены. Отпраздновали такую свадьбу, что о ней по сию пору рассказывают в Литве. Как по сию пору зовут по имени девушки Неринги длинный вал — Куршскую косу — Нерингой.

Тута Гендролис ушла с крокишкяйцами еще раньше. Они ее сразу узнали и немножко подразнили: школу-то, мол, кончила, а все бегаешь за учителем, и смотри-ка, прыгаешь прямо в сено.

Пошка еще сидит у огня, его больше занимает живой Донелайтис, чем мертвый Витаутас. Только он не может об этом говорить. Да и о чем? Для него все они еще живы, пожиратель мышей Пеледа, подкрадывающийся Слункюс, болтун Блеберис, кривоносый Шляпюргис, призраки из «Времен года» Донелайтиса. Его тревожит, как поступят в этой опере с его любимыми стихами, хватит ли им места. Вот, например, в «Заботах зимы»:

Глад у быков; рыжеватый, и черный, и пегий рогатый
ревом взревет с голодухи, заметив, что держите сено,
киньте беднягам охапку от чистого сердца, душевно,
тотчас губами захватят и пустят охапку в работу,
будут хрустеть и смотреть неотрывно в глаза вам. Эх,

если бы тварь бессловесная речью владела литовцев,
сколько б добра она вам пожелала за этот подарок!

Так сидел он здесь. А теперь он пойдет вниз, вслед за смехом, что звучит под горой.

На середине склона, около песчаных ям, он останавливается. Отсюда виден другой берег реки; огни па той стороне, и огонь внизу, на воде, тоже; и не подумаешь: а может, это иные огни, чем тот, наверху, на горе?

Но потом слышишь: выкрикивают прибаутки, бегут и прыгают, пытаются крикнуть через реку, размахивают пылающими ветвями: пусть они отвечают, с другой стороны.

И те, на другом берегу, может быть, делают то же самое: кричат, машут, выкрикивают прибаутки.

А где Фойгт?

Он сидит со Сторостасом и Шалугой в трактире. Теперь здесь два профессора, целых два сразу, — самолично. Канкелат страшно возбужден. Все время туда и сюда — от стола ученых к столу, где председательствует господин барон фон Драшке и куда за это время подсел Никель Скамбракс, депутат ландтага; он теперь произносит речь об автономии Мемельской области; эту речь он произносит год за годом, словно не сидит в Каунасе правительство Вальдемаруса, даже словно не существует правительства рейха и господина Гитлера, об этом он и знать ничего не хочет.

Нейману, наконец, надоела эта болтовня об автономии. Встал:

— Господин Скамбракс, у вас еще откроются глаза, — и ушел.

Драшке все время удивляется. В конце концов важным тоном он спрашивает, где его дочери.

И правда, где они?

Вот и беготне Канкслата пришел конец.

— Ведь это все литва за тем столом, — высказывается господин фон Драшке.

Теперь, стало быть, Канкелату надо сделать выбор, и, чтобы поразмыслить, он отправляется в маленький дощатый домик.

А потом — человек он веселый и легко поддающийся соблазну — его привлекает большой костер на берегу, и он направляется туда, уже слегка навеселе, отяжелевший на свежем воздухе.

Там тоже пиво — ящиками, и музыка переместилась туда, и все больше людей, и даже каменщик Генник со своим другом Антанасом. И еще четверо других с лесопилки — их сразу узнали, — они, значит, с немецкой стороны, но не из друзей Неймана, не его сотоварищи, ничего похожего. Они разговаривали с Генником и Антанасом, и крокишкяйцами, когда те подошли. Тута все еще с ними.

Только Пошки нет. Где Пошка? Где он сейчас?

Вот и Фойгт со Сторостасом выходят.

Пора подумать об отъезде. Итак, доброй ночи, господин Шалуга, — и еще чуточку побродить на воздухе, среди людей.

— Мне хотелось бы попрощаться с господином Пошкой и его невестой. Куда он запропастился?

— Я уверен, он где-то здесь, мы разыщем его, — говорит Сторостас.

Но они его не находят. У костра его нет; они идут вдоль подножья горы, по берегу реки, — там его тоже нет.

У Сторостаса одно соображение относительно оперы:

— Как вы поступите с большими назидательными

отступлениями, включенными поэтом в поэму? Это прекраснейшие места у него. Я думаю... Но у вас должно быть действие... Это плохо увязывается одно с другим.

— Я уже думал об этом. С ариями тут ничего не получится, они превратятся в монологи в духе Вагнера.

— Я имею в виду известные строки; вам, конечно, они знакомы.

Теперь он декламирует то, что имел в виду, в самой интонации соединяя скромность и добронравие проповедника, перенесшего много испытаний, со скрытой язвительностью деревенского мудреца.

Боров ты этакий, как же живешь ты! Бесстыжий! Намедни
мимо двора твоего проезжал я, загажен он жутко.
Вдруг мой каурый заржал, и стропила посыпались сверху,
вдребезги окна разбились. И три полосатые хрюшки
с выводком всем
полосатым из хижины с визгом рванулись,
будто их режут, — волосья от жути поднялися дыбом!

Сторостас смеется:

— А не лучше ли в таких местах просто говорить?

Фойгт складывает руки на груди и отвечает:

Нет, я не ведаю как, но верю: то в опере будет,
и отступлю лишь тогда, когда боги — и все! — нас покинут.

— Может быть, Гавен наколдует здесь небольшое оркестровое сопровождение? Я поговорю с ним, у него сейчас как раз прилив вдохновенья. — И добавляет: —

Жалко, что Пошки здесь нет, он смог бы, он так музыкален!

Сторостас подхватывает:

Значит, должны мы кусты обыскать, досточтимый коллега.
Надо найти нам его, пусть даже в объятиях невесты.

Но, пожалуй, довольно. Фойгт наклоняет голову набок, прислушивается, втыкает палку в землю.

— Вы не слышите, что там происходит, внизу?

— Пошли, — говорит Споростас.

Перед ними вырастает Готшальк:

— Куда вы идете?

— Вниз, к костру, — отвечает Фойгт. — Вы что, не видите, там что-то случилось.

— Я полагаю, господам профессорам там делать нечего.

— Вы так полагаете? Оставьте свое мнение при себе. Здесь свобода мнений.

Готшальк загораживает Фойгту дорогу.

— Вы останетесь здесь, господа. Вас это не касается.

— Разрешите, — говорит Сторостас.

— А вам, старый литовец, я посоветовал бы держать язык за зубами.

— Ну, это уж слишком, — кричит Фойгт.

И мимо Готшалька.

— Идемте, господин коллега!

И снова Готшальк рядом с ним.

— Господин профессор, до сих пор мы наблюдали спокойно: весь день вы путались с этими литовцами.

— Что вам надо? И кто это наблюдал, кто это — мы?

— По-моему, это не нуждается в объяснениях.

— Проваливайте ко всем чертям, — кричит Фойгт.

На этот раз он, видно, нашел нужные слова. Готшальк повернулся и исчез, будто растаял у них на глазах.

Теперь к костру.

— Господин Сторостас, — зовет Фойгт, — поглядите, ведь это настоящее побоище.

Видит бог, побоище. Поникший костер. Отрывистый рев.

— Ах ты, господи, и мои литовцы там!

Фойгт кричит и, размахивая палкой, бросается к месту сражения.

— Стойте! Разойдитесь!

Но это не мальчишки.

— Господин профессор! — Канкелат кидается ему наперерез. — Остановитесь, господин профессор!

— Да вы что, Канкелат, не видите, что ли?

И мимо!

Вон стоит Тута Гендролис.

— Девочка, что вы здесь делаете? Где Пошка?

— Его там нет. Я не могу его найти... Там наши мужчины.

Она имеет в виду крокишкяйцев. Их Фойгт уже видел издалека.

— А, и эти морды здесь! — Теперь Фойгт обнаруживает и неймановских прихвостней или, если хотите, собутыльников. И еще одного, что околачивался вчера пьяный в трактире у Платнера, такая рожа: увидишь — не забудешь.

Но вдруг стон. Словно кого-то закололи.

Кто дрался один на один, останавливается, те, что в общей свалке, тоже. Что случилось?

Генник.

Значит: с *кем* случилось?

Генник.

Что с Генником?

Он потирает спину. Он говорит:

— Похоже, мне кто-то на ногу наступил. Или повыше.

Неплохо сказано, а? Рассмеяться, что ли?

Хорошо бы. Но ничего не поможет, Генник.

Варшокс поднимает кулаки и с ревом бросается на Антанаса из Моцишкяя.

— Я тебе покажу, собака!..

Но он немного успел.

В метре от Антанаса этот натиск обрывается: на вытянутой правой Антанаса. На нее налетает этот Варшокс, как бык.

Но, вместо того чтобы просто осесть всем телом, он валится назад. Валится назад, затылком прямо на обугленный пень.

Выкатывает глаза. И не закрывает их больше.

Люди в нашей округе ко всему привычны, им доводилось видеть мертвых. Собственно, здесь вырастаешь с ними.

Кто из низины, знает: каждому ребенку приходится неделями находиться с умершими под одной крышей.

В местности, заливаемой паводком, хутора расположены на холмах, каждый на своем холме. В конце февраля и в марте лед рыхлый, тогда по нему не пройти, ноги уходят, как в вату, чуть затрещит — ноги уже мокрые. Но лед не тает. На лодке не пробиться. Тогда на пять, шесть, семь недель мы заперты, никакого сообщения с соседними хуторами, до деревни не добраться, да и что такое деревня в таких местах: чиновник да почта, что от них проку сейчас, все заперты, каждый сам за себя.

Если кто умирает, остается в доме до весны, пока не пройдет лед, пока не пройдет schaktarp. Так зовется это время. У него есть имя, понятно почему.

Он может остаться дома, покойник. На чердаке стоят наготове гробы. Со слезами кладут его в гроб. Потом он так и стоит. Привыкают к этому, надо думать.

Так что люди в этой округе ко всему привычные. И то, что женщины сейчас закричали, а мужчины отошли в сторону, образуя широкий проход, — это неспроста.

Дело не только в страхе.

Фойгт обнял Туту Гендролис и крепко держит ее. Касается губами ее волос:

— Не плачь, дитя, не плачь, милая.

Но увести ее не может, он не может уйти сейчас. Он в точности знает, что теперь будет.

Внезапно, как из-под земли, появляется Нейман.

Антанас еще не может поверить: вокруг него все молчат. Этот человек, который останавливается на некотором расстоянии от него. Другой человек, что лежит там с выпученными глазами и не закрывает их. И не встает...

Парни из Шерейклаукиса встали перед Антанасом. Генник стоит рядом с ним. Рабочие с лесопилки подходят к Нейману.

— Что вы собираетесь делать? — спрашивает один.

— Теперь дело за полицией. — Нейман кричит: — Господин Вазген, я полагаю, это входит в ваши функции!

Вазген выступает вперед.

— Господин адвокат, — говорит он и щелкает каблуками. И к тем, с лесопилки: — Вы что, местные? Не устраивайте осложнений.

И Геннику:

— Убирайся отсюда!

И Антанасу:

— Идите впереди. В трактир Вите.

Антанас не может еще во все это поверить. Он стоит и оглядывается вокруг.

Фойгт, все еще поддерживая одной рукой Туту:

— Господин адвокат Нейман, я видел все происшедшее, и в непосредственной близости, речь идет о несчастном случае, притом во время вынужденной самообороны.

— Что вы хотите сказать, господин профессор?

— То, что сказал. Я желаю дать свидетельские показания.

— В этом нет необходимости. Вы гражданин рейха. У нас достаточно своих. Местных.

— Я настаиваю.

— Я не предрешаю, но ваши показания вряд ли здесь кого-либо интересуют.

Фойгт оборачивается и видит рядом с собой Канкелата.

— Господин Канкелат все время стоял здесь. Пусть он даст показания.

— И что же вы думаете, покажет господин Канкелат?

— То же, что я.

— Господин Вазген, — кричит Нейман вслед жандарму. — Господин Вазген, господин профессор Фойгт пытается оказать воздействие на свидетелей.

— Не возбуждайте людей, я предупреждаю вас. — кричит Вазген. И марширует дальше.

— Вы слышали? — говорит Нейман.

— Глупости. — Фойгт оборачивается к Канкелату.

— Вы стояли здесь, господин Канкелат. Вы все видели. Вы не можете сказать ничего другого.

И Нейман, тоже Канкелату:

— Господин Канкелат, я буду вам признателен, если вы недвусмысленно выскажете свое мнение.

Канкелат, что скажет Канкелат?..

— Господин адвокат,— говорит он, — мне кажется, я глядел в сторону. Вот сюда, в эту сторону.

И еще рукой показывает.

Ну ясно, тогда можно поставить точку. Урбшата и Бергера, Швиля и Швейзингера, Валата и старшего лесничего Симонайта нет необходимости опрашивать. Даже осторожного Симонайта, который и хвост своему псу обрубает не весь целиком, а по кусочкам — каждый день по кусочку, чтоб не так больно было.

Вот и все.

Марта Кайрис кричит:

— Пароход!

Вильгельм Сторостас и Мартин Фойгт спускаются вниз к пристани.

— Передайте Пошке привет от меня, — говорит Фойгт и не отпускает плачущую девушку, пока капитан не предупреждает:

— Идите, отчаливаем.

Глава VII

Деревянное сооружение, которое мы хотим описать, если, конечно, нам это удастся, — а значит, правильнее сказать: деревянное сооружение, которое, возможно, будет описано, — называют тригонометрический пункт — один из тригонометрических пунктов. Мы опишем эту вышку здесь, как если бы она стояла на этом самом месте, которое следовало бы обозначить, как почвенную складку — несколько сот метров западнее

горы Рамбинас, плоский, едва заметный бугорок на низком лесистом кряже, что отходит от главенствующей вершины и выбегает вниз в равнину. Это место обозначают как неровную пустошь с беспорядочно разбросанными межевыми камнями, кое-где поросшую вереском, — небольшие вкрапления сухого, белесого мха в счет не идут, скорее уж четыре или пять скрюченных кустов можжевельника — здесь его называют kaddik'ом. По краям кусты бузины и дикой смородины, за ними молодой хвойный лесок, ели и полузасохшие сосны. Вот оно какое, это место. Здесь бы и должна стоять тригонометрическая вышка.

Вот мы и будем описывать ее так, будто и вправду стоит она здесь, а не на другом берегу Немана, наискосок отсюда: там ее можно найти согласно обозначению на карте, масштаб 1 : 150 000, пометка — русло Немана в районе Рагнита. Это пятиярусное сооружение из цельных лесин, ободранных, но необтесанных. Четыре мачты, поставленные по углам квадрата, резко наклоненные к его центру, на уровне пятого яруса над маленькой площадкой, обнесенной чем-то вроде решетки с перилами, сходятся, и тут они скреплены тяжелыми стальными болтами, а над местом их соединения поднимается двухметровый шест. С яруса на ярус ведет лестница, начинающаяся каждый раз в другом углу. Каждый ярус образуется из четырех горизонтально укрепленных снаружи бревен, которыми по мере надобности соединяются мачты. От их выступающих концов идут косо поднимающиеся вверх и, разумеется, перекрещивающиеся балки.

Но пока что мы стоим внизу, где нет никаких лестниц и где Пошка тоже не стал бы задерживаться в нерешительности, тем более что уже начинает темнеть,

а просто вспрыгнул бы одним прыжком на первый ярус, а дальше можно уже подыматься по лестнице.

Сначала вспрыгнуть на первый ярус этой воображаемой вышки, потому что внизу нет лестницы, вспрыгнуть и стать на поперечные доски, а потом, значит, подыматься с яруса на ярус. Темнеет, до четвертого яруса все скрывает летящая мглистая дымка; она изменчива, и чем дальше вверх, тем она реже. Потом становится светло. Не здесь, не вокруг этой вышки, этого тригонометрического пункта, но где-то все-таки становится светлее: свечение издалека. Где оно?

Не над рекой. За лесами, за долами, за двумя реками, где-то далеко отсюда.

Вот, стало быть, куда добрался Пошка, до пятого яруса, где светлее, чем на четвертом, третьем, втором, где редеет мгла и где от перекладины к перекладине он сам становится все легче и легче. Но покинутое им, какое оно, оставшееся позади, за ним, идущим вверх? Посмотри вниз, оно почти неузнаваемо.

Пошка, он здесь. Кто только не спрашивал о нем? Он здесь. И отсюда далеко видно. Что видно?

Ландшафт. Темнота. И сквозь нее — свет.

Время. Если бы только знать, что оно такое, время? Настоящее? Его всегда замечаешь, когда оно уже окончилось, прошло, стало прошлым.

Будущее? Оно всегда подходит, совсем близко подходит, но никогда не наступает — всегда остается вовне.

Прошлое? Оконченное, преодоленное, его не окликнешь, потому что оно лишено слуха. Его распознаешь, пожалуй, в неживых предметах; умершее, в одно мгновенье ставшее неузнаваемым.

Но мы всматриваемся в него. А во что же еще?

Всматриваемся, словно оно принадлежит нам. Мы видим дома, деревню, окна. Мы заглядываем в одно из них. Что это за люди? Как они выглядят?

Люди, их лица, их руки. Как они одеты? Двое мужчин, парики, по-воскресному праздничные лица, длинные черные сюртуки, белые сорочки, жилеты из материи с едва заметным узором и со множеством пуговиц — верхние три расстегнуты, — штаны до колен, башмаки с белыми пряжками. Мы хотим назвать их имена.

Пожалуйста, ваше преподобие, встаньте.

Мы могли бы сказать так, и тогда один из мужчин, тот, к кому мы обратились, встал бы, и нам нетрудно было бы его описать: некий Кристиан Донелайтис, пастор в Тольминкемисе, уроженец Лаздинеляя, вольнослушатель, студент, гофмейстер, кантор в Сталупянах с 1742-го, там же ректор, через год, после экзамена и рукоположения в сан в Кенигсберге, приглашенный в Тольминкемис. 24 Decembris hujus anni введен в должность здешнего пастора, в каковой и пребывает уже двадцатый год.

Теперь мы станем понастойчивее. Двадцать лет. Пусть наша речь течет без всяких завитушек, как ей течется.

— Говори, чтобы я тебя увидел, говори, чтобы мы тебя увидели.

Он встает и опирается левой рукой о стол, поворачивается к кому-то:

— Давать ответы — мой долг.

— Есть вопросы, на которые нельзя ответить.

Это говорит другой. Раз так — пусть он встанет, пусть даст себя разглядеть.

Такой же человек, как и его собеседник. Его пре-

подобие Шпербер. Вольнослушатель, студент, гофмейстер, раньше был посвящен в сан, предшественник Донелайтиса в Тольминкемисе, с 1756 года пастор в Кунце. Он в гостях у друга юности; тот крестил сегодня: ребенок женского пола из Раудоняя. Почему он сейчас так осторожен в речах?

Его жизненный опыт подобен опыту его друга. Об этом они говорят с тех пор, как он здесь, — три дня. Он служит в церкви при имении, там указывает господин барон, что и как делать, здесь же церковь на королевских землях, чиновники сидят в королевском фольварке и распоряжаются 27 деревнями, то есть 309 податными трубами всем приходом. Четыре года назад представителем казны был амтман Франц Болтц, которого Донелайтис хвалил за светлую голову и набожность, но потом его сменил Беринг, а теперь — Руиг, амтман Руиг, и дело, конечно, не в личности, а скорее в том, что выносимое кажется благодеянием, когда наступает невыносимое, и еще в том, что его преподобие не запрещает прихожанам спрашивать, спрашивать об обязанностях и повинностях — они все возрастают в эти годы, в эти семь лет войны, которая сейчас, в шестьдесят третьем году, находится при последнем издыхании.

Нелегко в такие времена писать письма: про соловья, что пел в этом году и доставил столько сладостных мгновений днем и ночью, а вот несколько дней назад как будто онемел. Эта птица была, как часы: начинала с ночными сторожами, а кончала точно в семь утра. Пела попеременно то в моем саду, то у соседа, и чем ближе был день Святого Иоанна, тем громче пела она даже днем.

Тогда-то и послано письмо собрату, пастору в Килгис,

отправленное с кюстером Фридрихом Зелигманом: не принимать назначения в чужой округ, потому что добрые литовцы большая редкость в наше время.

А значило это только: не покидать своей паствы, своих овец, которым трудно будет отвечать так, как требуется: по-прусски вместо литовского. Так можно это выразить, и пусть это будет понятно.

И другие заботы.

С пятьдесят восьмого года здесь были русские, это мало что изменило. Православная церковь прибавила нам свои праздники: в день Александра Невского надо было сказать проповедь о нем. Я нашел выход: кузнеца с тем же именем во 2-м послании от Тимофея, 4, 14, ты знаешь: «Да воздаст ему господь по делам его».

Но пусть Шпербер снова встанет, пусть покажется нам, мы хотим поглядеть на него, прежде чем он снова уедет к своей пастве в Кунце — он произносил малодушные речи. Послушай-ка, Шпербер, сейчас будет говорить другой человек, и говорить так, что мы его увидим.

Боже, помилуй, стригут, как овечек, нас добрые баре.
Грошик последний готовы они из крестьянина выбить.

Это начало. Тут он оглянется, и в глаза ему бросится... Что такое?

Жадность амтрата, известно, как прорва, всегда, ненасытна.
Если бы нищему бросил однажды копейку какую,
щедрость такая скупца изводила б три целые ночи,
прямо с утра и до вечера бился б в рыданьях бедняга,
ибо тот грошик грехом бы ему представлялся ужасным,
поедом ел бы во сне богомольную душу амтрата.
Братья, вы барскую милость на собственной шкуре узнали,

барин считает, что бог наделил его правом особым,
словно с собакой бездомной, с холопом своим обращаться,
ну, а крестьянин — на барщине гни себе спину покорно.
Эй, господин, толстопузый тиран, себялюбец надутый,
что ты все пыжишься, молнии мечешь и громом пугаешь,
или не так же, как нищий, на свет появился ты божий,
или иначе задок тебе мать подтирала когда-то?
Помни: всевышний все видит, на суд свой правдивый однажды
он призовет и тебя, и воздастся тебе по заслугам.

— Быть может, его преподобие Шпербер хочет взять копию. Здесь лежат листы, их уже сотни.

— Шпербер, это было бы полезно тебе, хотя бы ради тебя самого.

Но разве все это не окончено, не преодолено, ведь прошлое не окликнешь, потому что оно лишено слуха. Его распознаешь, так было сказано, в неживых предметах, — умершее, ставшее неузнаваемым в одно мгновенье.

Да, это так. Это прошлое.

А будущее? Действительно еще не наступило?

Все еще вовне?

Да, это так. А здесь?

Здесь темно, вокруг деревянной вышки. Здесь шаги, кто-то спотыкается о камень.

Призраки французов?

Значит, зарытые сокровища все еще лежат в земле? Под слоем песка, а может быть, еще глубже? И вам есть что охранять, призраки наполеоновских солдат?

Говорите, только все равно вас не увидишь на этом месте, которое тут описано, но которого не существует.

Никакого разбега, никакого прыжка. Но кто-то здесь есть. Он уже на первом ярусе. Кто-то держится руками за балки, за перекладины. Чье-то дыхание, более быстрое, чем бег воды у подножья горы, вода бежит

все быстрее, вслед за маленькими огоньками, с которыми удаляется отсюда пароход, идет вниз по течению навстречу городу.

Фойгт и Сторостас сидят на корме и смотрят назад, хотя уже совсем стемнело, и слабый свет рассеивается прямо над поверхностью воды, словно тонет. Они сидят на корме и смотрят назад, и сердца их полны растерянности. Что теперь делать?..

Что тут исправишь? И как? Оперой, господин Фойгт? Да, может быть...

Вокруг вышки темнота, шорохи, шаги. Кто-то ощупью ищет лестницу, кто-то поднимается на перекладину.

Может быть, темнота ему на руку?

А ты, Пошка, ты не слышишь его на своей высоте. Ты все еще смотришь: вон свет, дома, деревня, за двумя реками, за лесами, за долами, далеко отсюда, далеко от всего.

Глава VIII

Этой новой главе давайте-ка дадим название «Литовская свадьба» или «На литовской свадьбе».

Конечно, всегда легко наобещать лишнего, тут может быть всякое, в этой главе; говорят, литовская невеста красуется: это вовсе не значит, что она сама себя украшает, ее наряжают другие, тут уж ей заботиться не о чем, нет, — она должна быть робкой, застенчивой, смущенной, взволнованной, так до слез; она здесь главная, ей желают счастья или сожалеют о ней; так примерно.

— Ах, нет, — говорит она еще и еще раз, она стоит

и ходит так, словно хочет не хочет, а должна проскользнуть сквозь узкие свежевыбеленные ворота, протиснуться между еще пачкающими стенами, а выражение лица при этом — самое счастливое.

Мы говорили, она красуется, такая уж у нее осанка, душевное состояние такое, оно-то и выражается в осанке, некоторые сохраняют это навсегда; про Леманиху говорили, что она красовалась даже в гробу.

Пожалуй, этого довольно, можно обойтись и без названия главы, и так начало прозвучало торжественно, словно полонез.

Писать эту главу мы будем, не задумываясь: получится ли из нее действие в фойгтовской опере, сумеет ли такой человек, как Гавен, создать из этого чередования сцен хотя бы набросок для своих музыкальных построений, и, наконец, разглядел бы все это Пошка, если бы существовала вышка, на которой он стоит, и свет во тьме, и взгляд с пятого яруса; мы говорили уже — тут что-то похожее на сценическую площадку, обнесенную чем-то вроде решетки с перилами, с вертикально торчащим шестом над ней.

На географических картах Тольминкемис едва различим, на генеральной карте Карла Флемминга № 3 его еще можно найти, а в атласе у Юстуса Петруса, на листе Северо-Восточной Европы, его совсем нет, лучше всего его искать у Хармса-Вихерта, лист 8/9, там он обозначен как селение с церковью и базарной площадью.

В «Описании земель прусской монархии» магистра Леонарди, напечатанном в 1791 году в Галле — довольно-таки далеко отсюда, — автор рассуждает так же, и весьма неудачно, о литовском языке, причисляя его к скифским. Там написано:

«Тольминкемис — село со смешанным населением, с королевским фольварком, резиденция управляющего казенным имуществом, площадью, считая церковь, в 14Н, где буквой Н обозначается так называемый «большой кусок» — около 67 прусских моргенов.

Административная единица Тольминкемис состоит из двух фольварков и 27 деревень, 309 податных труб».

Это все, и все это нам и так известно. Во всяком случае, на карте Тольминкемис лежит между Валтеркемисом и Мелькемисом, в этом тоже нет ничего нового, и между реками Писа и Роминта, обе они на высоте Тольминкемиса делают первый изгиб. Здесь начинается также возвышенность, которая, переходя в пастбища, тянется к югу в направлении Гольдапских гор. Сеская возвышенность, за ней начинается округ Олецко.

Много бы можно было еще сказать, но мы не будем, уточним только, а значит, попробуем теперь описать все это и поглядим, что из этого выйдет.

Сверху такая деревня выглядит поистине райским уголком. Итак, улица, на ней стоят дома, за ними — амбары; и словно для того, чтобы отделить свою усадьбу или свое хозяйство от соседей, под прямым углом к дому или риге, все равно, — конюшня и хлев, амбар для зерна, погреб для картофеля, деревянные навесы и так называемые клети: низкие, но красиво украшенные избушки, где очень приятно жить, если, конечно, захочется. Всех этих амбаров, навесов, клетей больше или меньше, столько, сколько нужно. Ну, а кроме того, конечно, сады — овощи, фрукты, цветы, — а на дворе колодец, а на крыше каждой риги — гнездо аиста, это следует отметить особо, по-моему, местность, где не водятся аисты, просто необитаемая. Кому он может помешать, когда вышагивает на прямых ногах,

черно-красно-белый, словно наряжен в так называемые цвета Германии, но он не немец, нет, скорее древний египтянин — ведь он всегда улетает туда, к египтянам; аист — мирная птица, если он порой и драчлив, то лишь по необходимости; перед войной со всеми ее тяготами он всегда внезапно улетает бог весть куда. На краю деревни или посреди нее, но уж, во всяком случае, на хорошем месте стоит церковь. За ней лежит кладбище, а рядом — дом пастора, иначе — пасторат.

Но чтобы наше описание чего-нибудь стоило — в такой форме, само по себе, оно, право, ничего не стоит — мы его оживим людьми, ибо самый прекрасный ландшафт без людей все равно, что мрачная пустыня, хуже ада; населим, понятно, людьми, которые знают, как себя вести в этой округе, не из тех, кого пошли богу молиться — они и лоб расшибут, значит, поселим Пиме, Урте, Люке и Анорте, Туше — сплошь женщины, да девушки, и Лауреса, Мартинеса, Энскиса, Юстинаса, но также Матеожуса, Маркожуса, Лукожаса, Ионаса. И пусть это имена самих евангелистов, тут, у нас, — это просто мужчины, и среди них всегда какой-нибудь jaunikas — юноша, у нас, к примеру, жених; вон он рука об руку с невестой остановился перед домом, вот вошли они с улицы в открытые настежь ворота на заросший зеленью двор, вот сделали несколько шагов к входной двери — жених рука об руку со своей marti; навстречу выходят родители невесты, за ними толпятся гости с бокалами в руках, чтобы ввести зятя и дочь через украшенную венками дверь в дом. Под приветственные клики, под веселое хлопанье в ладоши в большую горницу направо, к печке, которая так приятно холодит летом, к самой середине стола;

хорошо здесь сидеть и красоваться, будь ты невестой, или невестиной подружкой, или невестиной матерью, или свекровью: губы сложены сердечком, ноздри слегка раздуты, волосы зачесаны назад от висков, сидеть приходится осторожно, чтоб не измять ленты и рукава буфами, накинутые на плечи платки и множество разноцветных юбок. Или будь ты женихом, или жениховым отцом, или тестем, или дружкой, или еще кем-нибудь: башмаки, чулки черные из шерсти черной овцы, сюртук застегнут на обе пуговицы, широкие шаровары, вышитые пояса, лохматые бороды. И так как нам, мужчинам, подобает вести разговор, а в подобных случаях тем более, рот с самого начала работает без остановки и вдруг закрывается, чтоб хлебнуть пива, после чего разговор становится оживленнее и горячее, и снова пиво, а теперь уж и водка, которая ждала своей очереди в маленьких бочонках и больше не должна ждать, потому что наступил седьмой за сегодняшний день повод для поздравлений: теперь они уже в доме.

Дидвижюс, тесть, по прозванию «Большой сапог», вместе с зятем Лаурасом вносят ведра с пивом, оттуда все будут черпать деревянными ковшами и кружками, а Асте и Магуже принесут еду, жаркое, и горшки с потрохами, и szupinus, и кисель, а музыка — скрипка и цитра — поедят позже, сейчас пусть играют.

— Ну и ну, — удивленно говорит мать жениха, когда девушки начинают петь, перебивая музыку:

Я трепала лен, лен,
Мыла белы руки,
Уронила с пальца
В реченьку кольцо.

Они попросту врываются в музыку, а музыка, хотя играют всего двое, звучит отчаянно, ее скачущий ритм на три четверти решительно, ни к чему решительно не подходит, и песня просто-напросто хватает музыку за глотку, чем дальше — тем отчаяннее:

Скачет мимо парень.
«Подержи поводья —
Я тебе достану
Из воды кольцо».

Даже мужчины подпевают, когда остается время; только что вошел староста Фриц со своим узловатым посохом, украшенным на этот раз бантом из пестрых переплетенных лент, и он поднимает посох, знак своей должности, со значением ударяет им об пол, и тотчас же начинает свою речь, он быстро переходит от счастья и благословения к детям и белью, к урожаю и дождю, и, наконец, к питью.

— Причкус, — кричит ему Энскис.

Он размахивает своим ножом и с такой силой тычет свиной ножкой в деревянную миску, стоящую перед ним на полу, что капуста разлетается во все стороны.

— Причкус, здесь vakarelis — пирушка.

— Ах ты, bildukas, — говорит Фриц и стало быть, обзывает Энскиса крикуном и, так как он пока еще преисполнен достоинства, твердо выговаривает:

— Здесь имеет место свадьба.

Все по очереди это подтверждают, и крикун Энскис, и болтун Блеберис, и лентяй Дочис, который со всех тарелок понабрал еды и тихо ее уминает.

— Ясное дело, свадьба, да еще какая!

Осталось допеть всего два стиха, и музыка хочет

еще играть, но ничто не помогает: Дочис кричит, а Энскис обеими руками отбивает такт по столу. Но что это за такт? Гавен ломает голову над ним. Пошка не знает, как его записать. Будем просто петь дальше, так, девушки?

Причкус между тем рассказывает о других свадьбах у переселенцев из Зальцбурга, стало быть, в деревнях севернее нашей, как там квасят капусту не в бочках из липового дерева, утаптывая ее босыми чистыми ногами, а зарывают в землю, а у немцев бесстыдно снимают куртки и пляшут в одних рубахах, и о жуткой снеди, которой угощаются господа; дичь висит у них в кухне, пока в ней не заводятся черви, они едят морских слизняков с плоских широких ракушек и грязную рыбью икру, и лягушек, и внутренности бекасов, затошнит, когда услышишь про это.

Но я видел собственными глазами.

Кто рассказывает про волка с остро отточенными клыками, который, разумеется, был вовсе не волком.

— Я его убил насмерть, он издох, дохлым и остался, только это был не волк. Правда, в это время здесь никто не умер и не пропал, значит, он пришел сюда издалека, во всяком случае, бабушкой Стурната он быть не мог.

Кто-то нахваливает свою кобылу:

— Я вам говорю, животное, что надо! У ней круп как у бабы. — При этом он выдвигает вперед нижнюю челюсть, на лице образуются косые складки ото рта к глазам и тоненькие на висках, если приглядеться повнимательнее.

А Люне трещит про своих гусей, у каждого из них свое имя, и она говорит о них, словно все их знают.

Теперь Причкус сообщает, что амтрат окрестил

дойную корову Эвтерпой, правильное ударение на первом слоге: Эвтерпа. Эти слова как нарочно предназначены для пастора, который как раз входит в горницу, пастор — человек образованный.

Он вошел, а с ним об руку Анна Регина, урожденная Олефант из Голдапа, — тонкая, несколько сумрачная женщина с редкими волосами, едва видными из-под черного чепчика.

Их проводят на лучшие места, и некоторым гостям приходится для этого встать, и Донелайтис говорит:

— Сидите, сидите, дети мои. — И: — Вы уже помолились?

Так как они, конечно, не молились, он сделает это сам, а Блеберис придержит язык. Только он не опустит свои быстрые глаза, как принято, а уставится прямо на невесту. Кажется, что зрачки у него стали темнее и меньше, они стоят в голубовато-белых глазных яблоках, круглые и острые, словно иголки. Но какой неземной и прекрасной выглядит невеста в белоснежном кружевном уборе, с падающей на плечи длинной, почти по колена, вуалью.

— Ох, времена, времена, — говорит кюстер Зелигман безо всякого перехода и рассказывает о соляном источнике в Турене; окружной лекарь Мельхорн из Гумбинена вместе с гофратом Эренрайхом и аптекарем Боттгером брал его воду на анализ.

— Господин Мельхорн писал мне, — говорит Донелайтис, — источник превосходит по содержанию углекислоты зельтерскую воду, по содержанию железа приближается к пирмонтскому источнику и в целом подобен воде из Польцинера.

— В Турене уже строят дома для жаждущих исцеления, — говорит Зелигман. — Гумбиненцы не теряют-

ся. — И если правильно истолковать вздох Зелигмана, это значит: «Нам бы надо покопаться на церковной земле — глядишь, и мы бы тоже нашли что-нибудь».

Но тут вмешивается Причкус:

— Прежде надо спросить позволения у господина камеррата, иначе будут неприятности.

«Это было бы подарком для амтмана Руига», — думает Донелайтис. На церковной земле! И говорит:

— Ты прав, Фриц, наш Зелигман — беспокойная душа.

Но звучит это грустно, соответственно телесным недугом и ипохондрии, которые он себе приписывает и из-за которых носится с мыслью о постройке вдовьего дома для Анны Регины. Если я умру, что будет с ней? Грустно также при мысли о термометрах, которые он создал бы, и других аппаратах, которые, вероятно, были бы нужны, если бы здесь нашли целебный источник, да к тому же горячий.

Альмике и Катрине в другом конце горницы тоже есть о чем поговорить: ведь ребеночек, которого Пиме носит под сердцем (уж шестой месяц ребеночку-то),— ребеночек-то от жениха, вон он сидит, курчавый, как молодой бычок, а чтоб жениться... сама знаешь... Так уж водится...

Лучше давайте послушаем музыку или еще лучше — шум у дверей. Это проклятый Слункюс, пройдоха, бездельник, что жнет, где не сеял, и его дядя, по прозванью Пеледа, что значит мышей пожиратель, или филин. Все смотрят и не верят: а они, незваные, стоят в горнице и говорят свою присказку:

— Ты где, повариха?
Мы тебя ждем.
Пойдем потолкуем о том, о сем.

Можно ли так себя вести!

Но музыка уже заиграла. Прейкшас и Курмис, два старика, — скрипка и цитра. Итак, дальше:

Прославим ее сковородку!
К тому ж
Пускай ей достанется толстый муж.

Это уже совсем никуда не годится.

А тут еще пьяная болтовня Пеледы:

— Кажется, мы попали как раз в точку. Здесь все так хорошо, хоть плачь, все так благородно, до самых исподних. Ну будто специально для нас.

— Ах, и Причкус тут, — кричит Слункюс. — То-то радость свинье в хлеву.

— Заткнись, — говорит Фриц.

— Нет, поглядите, и господин пастор тут, — снова кричит Слункюс.

Теперь это уж действительно слишком и для жениха, и для тестя, и для свекра; пастор — набожный, святой человек!

Донелайтис только успевает схватить за руку Энскиса, который уже размахивает большим ножом:

— Убери свой didelis peilis.

— Немедленно заткнись, ты, свиное рыло, — говорит тесть Пеледе.

И так как Слункюс тотчас заверяет: «Мы как мышки», отчего Пеледа вздрагивает: ему показалось, что это обращаются к нему, и чтобы успокоиться, он почесал за ухом, хозяйка примирительно говорит:

— Я вам дам, что положено, — и уводит их с собой на кухню.

Таково литовское гостеприимство, и мы могли бы

еще добавить: все и дальше шло своим чередом, еда, и питье, и разговоры, и пенье тоже.

Но мы ведь собирались населить деревню, ту, что описываем, чтобы она не осталась мертвой, заселить подходящими людьми, а просидели все время в одной горнице. Давайте выйдем на минутку за дверь.

И так как уже стемнело, расскажем раньше о кустах, что растут со стороны улицы. Тихо, жасмин широко раскрылся и светится в воздухе; кажется, тихо, неслышно что-то начинает журчать, но не как дождь, а как совсем тонкий, почти угасший свет, который, возможно, был когда-то белым металлом.

Но это было очень давно.

И сквозь это журчание в темноте снова слышатся шаги, кто-то взбирается наверх, перекладина трещит.

Движение, потом сдавленное проклятие или другой шум, шаг в пустоту, тело тяжко наваливается на лестницу, надо думать, здесь не хватает ступеньки.

Она слегка покачивается, деревянная вышка, мачты дрожат снизу доверху. Сможем ли мы узнать его, того, кто карабкается вверх? Теперь он достиг четвертого яруса. Сначала над досками поднимается голова, потом продираются плечи. Сутулые плечи, мы уже видели их однажды.

Все исчезло, исчез свет, летучая дымка мглы, взгляд за леса, за две реки. Дома, деревни, огонь — все исчезло, все люди исчезли.

Мы здесь. Где мы?

Не слышна больше тихая речь Донелайтиса. Он говорит, что окончилась весна, что вновь вернулось лето со множеством работ, что жжет сильное солнце, чье огненное колесо достигло самой высокой вершины. Те-

перь оно будет катиться вниз, сначала медленно, потом с каждым днем все быстрее.

Пышет лучами, лучину в костер обращает светило.
Но постепенно земные венки высыхают и вянут, к травам поблекшим прекрасные лица цветы наклоняют;
те ж, что лишились внезапно ярчайшего юного платья, вмиг постарели, согнулись и прячут морщины в ладонях.

Нет, больше ничего не слышно. Только шаги, и прикосновение к дереву, и сдавленное проклятие. Толчок, легкая дрожь пробегает по вышке. Виднеются очертания плеча. Где мы уже видели однажды эти плечи?

Скрипка и цитра, музыка, которую нельзя забыть, исчезла.

И тут вступило старое пианино — хрипло, словно без голоса. Это мы еще слышим. Тона и аккорды расстроенных струн.

Глава IX

И голос, одинокий голос сквозь лес зовет: «Пошка, Пошка!» Голос во тьме.

Это я? Это меня зовут? Где я?

Мои руки лежат на чем-то деревянном, на перекладине, на перилах. Я стою на досках, об этом говорит скрип под ногами. Там, подо мной, гуляет ветер, его я тоже слышу. Я стою над ветром, я стою высоко, над всеми шумами; но это не ветер, это не только ветер. Другой шум гуляет там, внизу, тяжелый, по верхушкам деревьев.

А совсем внизу — третий, легкий, журчанье, движение воды.

Вот так стоять над тремя шумами, что это значит? Ведь здесь, наверху, воздух без движения, без звука.

Над движением, над шорохами, в недвижности и беззвучности, где же мы находимся тогда?

Но я слышу голос снизу, он поднимается из шума, он еще не высоко, сюда он еще не долетает, но вот он уже выше! Произносят мое имя. Меня зовут. Я тот, кого призывают.

Не стало ли здесь посветлее? Я вижу свои руки, они лежат на перилах. Не стал ли я видеть с тех пор, как прозвучал этот голос? Он несет мое имя, подымает его над шумом.

Но разве раньше я ничего не видел? Раньше, когда это было?

Не лучше ли я услышу зов, если наклонюсь, но должен ли я откликнуться на эти призывы?

Но разве раньше я ничего не слышал? Раньше, когда это было?

Не из-за тишины ли здесь, на высоте, так невнятен этот голос? Неподвижность? Безмолвие? Быть может, я не один двигаюсь здесь?

Поток воздуха обтекает меня. Теплота, подобная испарению, стоит у меня за спиной. Там, позади, какое-то движение.

— Стой, говорит чей-то голос. Я не узнаю его.

— Где ты, голос, ответь!

Он продолжает:

— Я пришел один, здесь только ты да я.

Но где он, тот, другой голос, где он, слышу ли я его? Может быть, нагнуться ниже? Разве я не слышу больше шума, разве нет больше ветра, нет деревьев, нет воды, ничего нет?

Смех, похожий на рычание: «Блажен, кто верит, в

муке, кто мелет», — и снова и опять то же самое, над шумом, которого больше нет, над ветром, которого больше нет, над водой, что текла где-то в глубине.

Снова зов, голос из лесу, поднимающийся из глубокой тьмы.

Я слышу тебя, голос.

Но больше я тебя не слышу.

Рука на моем плече. Она поворачивает меня. Дыхание. Оно касается меня, оно дует на меня, как на стекло, как на оконное стекло; лицо за стеклом, раскрытый рот. Туман покрывает стекло. Серый туман. Я отшатываюсь от него. Он преследует меня.

Высокие перила за моей спиной. Они удерживают меня, они трещат, они не удерживают меня больше. Шаг в пустоту...

Свистящий шум. Это свистит у меня в ушах, шум переворачивает меня; меня тащат. Но вот чьи-то руки отпускают меня, меня больше не тащат. Свистящий шум окутывает меня теперь.

И свет. Знак змеи в воздухе. Гилтине — смерть — приближается. Гилтине колет жалом.

— Лети, — говорит чужой голос. — Кто летит, тот блажен — вот и лети себе на здоровье!

Тот остается наверху один. Тот отворачивается. Все сделано.

Анна Регина.

Потухшее лицо, седые виски, слишком ранняя седина, бледный рот.

— Я привел в порядок все, что нужно было привести в порядок.

Голос из угла комнаты, словно дуновение ветра:

— Тебе станет легче, спи. — Только голос, нет

руки на белом лбу, нет, не погладит, не коснется легко. Так этот голос не действует.

— Если бы и сейчас я мог делать барометры!

Узкий рот произносит последние слова и больше уже не открывается. Откуда этот голос?

Только хрип в груди, которой не нужно больше дыхания. А руки говорят: Анна Регина.

Перед глазами последний день, июнь, день святого Иоанна.

Третье фортепьяно готово. Сослуживцы из Мелькемиса и Вальтеркемиса приехали в гости с женами. Брат Кемпфер, и брат Иордан, и я, каждый садится за фортепьяно. Они хорошо звучат все вместе, мое, последнее, пожалуй, чуть позвучней.

— Педали! — кричу я.

Все три бесшумны, механическая часть безукоризненна, как у клавиш.

И что ни затеваю —
На бога уповаю,

Брат Кемпфер ведет облигато. Иордан — простую басовую партию.

Который всемогущ.

А женщины поют:

С его благословения
Успешны все свершения.

Я останавливаюсь первым:

— Слишком высоко, Анна Регина!

Я не хотел этого говорить: остальные обе, жена

Кемпфера и жена Иордана, тоже взяли слишком высоко, почти на целый тон выше.

Мы начинаем снова. И снова женщины берут слишком высоко. На этот раз с самого начала. Иордан говорит со смехом:

— Спуститесь вы когда-нибудь с этой высоты?

На этот раз он остановился первым.

Потом мы сидели и думали: нет, они не могут спуститься, наши жены, это их высота.

Кемпфер предложил:

— Может быть, мы поднимемся выше?

И Иордан, смеясь, заметил:

— «Поднимемся выше», ты что имел в виду?

Что я могу сказать? В последние годы все поднимаются выше. Новые вкусы, новая мода.

Я и так уже настроил инструменты достаточно высоко, на добрый тон выше, чем было всегда принято.

Когда я делал рамы, надо было рассчитывать на это. Если натянуть еще, теперь выдержат ли рамы такое напряжение?

Хорошо, это ель, она может многое вынести. Но еще выше? Как бы не треснули рамы.

Лучше всего слегка расстроенные инструменты, особенно в верхах, но об этом никому и никогда нельзя говорить. Этого никто не поймет, и, я думаю, не без основания.

Если б можно было сделать все совсем медленно, чуть-чуть подтянуть струны и подождать несколько дней, пока дерево привыкнет, но если уж делать, так сегодня. Завтра наши гости уедут.

— Анна Регина, — говорю я, — дай нам кофе.

Настройка не состоялась. Пение в этот день тоже.

Анна Регина поднимается, у рта резкая морщинка. Но все-таки она идет.

Таким был последний день. Теперь только одно: спи.

Но вот другая рука, здесь легкое поглаживание, касание.

— Пошка, — говорит девушка, — Пошка, Пошка!

Рука на его лбу. Теперь краски возвращаются на его лицо. Девушка не видит этого, так близко наклонилась она над его глазами, над его ртом. Рот пытается открыться. Но нет слова, которое могло бы его отворить.

Снова зашумел лес. Шум становится все глуше, будто идет дождь. Над мхом подымается прохлада. Пошка выпрямляется. Он хватается руками за траву — она влажная.

Все еще ни слова

А вышка, где она?

— Вернись, Пошка, — говорит девушка. — Пошка, вернись. То прошлое, его нет больше.

Вышки нет. Он открывает глаза. Нет вышки. Нет просеки. Только шум, что гуляет вокруг по верхушкам деревьев.

Двигаться, идти он не может. Идти — нет...

Теперь он говорит, медленно, ртом, который учится говорить, голосом, который еще обретет звучность сегодня или завтра.

— Звать людей сюда. Сюда, где мы есть, в наше настоящее.

ПРИМЕЧАНИЕ. Цитаты из идиллий Кристионаса Донелайтиса представляют собой самостоятельную обработку перевода Лоиса Пассаржа (Галле, 1894).

Приведенные в V главе описания из жизни крестьянина-бедняка Индры Будруса восходят к очерку, написанному в 1912 году литовским поэтом доктором Вильгельмом Сторостом-Видунасом, умершим в 1953 году, пропагандистом и хранителем литовской народной культуры.

Все остальные персонажи книги, так же как и сюжет, придуманы автором.

ИОГАННЕС БОБРОВСКИЙ

Дерзкий новатор и бесспорный наследник великих традиций немецкого искусства, дарование которого проявилось с равной силой в поэзии и в прозе, непримиримый противник социальной несправедливости и неправды — таким вошел в немецкую лите-

ратуру Иоганнес Бобровский. Его творчество, которым по праву гордится демократическая Германия, стоит в ряду высоких достижений немецкой литературы середины XX века.

Иоганнес Бобровский родился 9 апреля 1917 года в Тильзите, одном из городов тогдашней Восточной Пруссии, близ литовской границы. Его отец был железнодорожником. Когда Иоганнесу было одиннадцать лет, семья переехала в Кенигсберг, а в 1938 году — в Берлин. Впечатления детства — долгие месяцы, проведенные в литовских деревнях, где жили родные, неяркая, но по-своему притягательная и несуровая к людям природа этих мест, своеобразный мир пограничной области, где немецкий язык впитал в себя славянские элементы, где живой литовской фольклор и народные преданья и поверья перемешивались с польскими, цыганскими, еврейскими песнями, на всю жизнь остались решающими для поэта. Эти впечатления, конечно, не были от начала до конца безмятежными. Читатель «Литовских клавиров», последней, предсмертной книги Бобровского — действие «Клавиров» относится к 1936 году, — сразу погружается в атмосферу жестокой национальной розни, которую местные нацисты разжигали с не меньшим усердием, чем буржуазное литовское государство.

Запомнились Бобровскому годы учебы в Кенигсбергской классической гимназии и весь — глубоко двойственный — облик старого Кенигсберга — города музеев, соборов, старинного университета «Коллегиум Альбертинум», основанного в 1544 году, и в то же время грозной крепости, в прошлом — опорного пункта немецких рыцарей в их кровавых походах против литовских племен; города немецких гуманистов: Иммануила Канта, Иоганна Готфрида Гердера, впоследствии друга Гёте и идейного вождя плеяды «бурных гениев»; Иоганна Георга Гамана — творца оригинальных и глубоких эстетических идей. Их заветы были с детства усвоены кенигсбергским гимназистом, который уже тогда увлекался живописью, сам

рисовал, сочинял музыку, был поклонником Букстехуде и Баха, читал Гомера и Софокла в бессмертных подлинниках.

Вся биография Бобровского, как мы увидим, отмечена печатью той же двойственности, как и история города его детства. Он не получил законченного высшего образования; лишь короткое время он изучал искусствоведение в Берлине, особенно интересуясь барокко. Вскоре он был мобилизован и отбывал так называемую «трудовую повинность», а затем был, как он пишет в своей автобиографии, «с 39-го по 45-й год солдатом нацистского вермахта в Польше, Франции, Советском Союзе». В 1941 году, близ озера Ильмень, на исконной русской земле, куда он пришел, по его собственному признанию, «как чужак, как немец», он пишет свои первые стихи; в 1943 году восемь его стихотворений увидели свет в небольшом мюнхенском журнале «Царство духа». Подлинное начало его литературной деятельности, однако, относится уже к послевоенным годам, когда Бобровский, побывав в советском плену (он четыре года работал шахтером в Донбассе), пройдя курс обучения в антифашистских школах, вернулся в обновленную Германию «сознательным гражданином которой», как он сам говорил, и оставался до конца своей недолгой жизни. 2 сентября 1965 года, в возрасте сорока восьми лет, Иоганнес Бобровский внезапно скончался.

●

Решение писать было для Бобровского актом внутреннего освобождения. С гневом и стыдом Бобровский вспоминает в своей прозе и в мемуарном этюде «Продолжительные размышления» о том гнетущем чувстве бессилия, которое испытывал он сам и его друзья, видя, какие преступления творятся от имени немецкого народа, но не зная действенных путей борьбы. Еще в молодости он был близок к лютеранской оппозиции

против нацизма, которая более или менее открыто выражала свое несогласие с «расовыми законами» «третьей империи» и поруганием прав человека. Возникшие еще в ранней юности антифашистские взгляды Бобровского могли лишь окрепнуть в годы войны. Взявшись за перо, молодой поэт смог впервые в какой-то мере дать им выход. Но и после войны во всем своем творчестве (в романе «Мельница Левина», 1964, в сборниках стихов: «Время сарматов», 1961, «Земля теней и рек», 1962, в книгах новелл: «Белендорф и Мышиный праздник», 1965, и посмертно изданный «Пророк», 1967, а отчасти и во втором романе — «Литовские клавиры», 1966, также изданном посмертно) Бобровский стремится распутать все тот же клубок предрассудков и преступлений, который оставили столетия немецкой истории. Вновь и вновь в его стихах и прозе звучат памятные ему с детства литовские, польские, русские, цыганские, еврейские мотивы — не просто как безмерно дорогая ему память детства, но и как безжалостное напоминание о «позорном и несправедливом» (слова Бобровского) отношении Германии к своим восточным соседям, которое зародилось еще в средние века и затем привело к политике угнетения и истребления целых народов в «третьей империи» Гитлера.

Однако, вводя в немецкую поэзию и прозу малознакомые ей краски чужих пейзажей, чужие фольклорные, сказочные и песенные темы, он, конечно же, следовал не только своим прогрессивным политическим убеждениям, он был увлечен этой новизной и как художник. Весь его опыт, все пережитое в годы нацизма и войны с большой силой выражено в трех рассказах сборника: «в «Пророке» и «Плясуне Малиге», где непринужденный, даже шутливый тон лишь оттеняет значительность содержания, и в удивительном в своей наивной и жуткой простоте рассказе «Мышиный праздник».

•

Иоганнес Бобровский часто и с увлечением обращался к истории. Разумеется, это связано с его стремлением отыскать корни несправедливости в немецком прошлом. Но в то же время в его отношении к прошлому есть элемент игры, веселой забавы, умной усмешки. Таков рассказ о старой Венеции: «В волшебном фонаре: Галиани». Тонкой шуткой кажется сначала и рассказ «Памяти Пиннау», о Канте и его друзьях. Но это впечатление обманчиво. Написанный с большой любовью к Канту, рассказ вместе с тем содержит очень проницательную его критику. «Маленький и легкий» Кант и его гости заворожили себя церемониалом уюта, они спрятались в этот малый мир от полуфеодальной Германии XVIII века. Но внешний мир, объявленный Кантом непознаваемым, мстит за себя трагической гибелью бухгалтера Пиннау, молодого поэта. Бобровский как бы применяет здесь излюбленный им прием «шоковой терапии». Из гостей Канта один лишь «невоспитанный Гаман» (любимый мыслитель Бобровского), человек, далекий от профессорского и чиновничьего мира, понимает, почему погиб Пиннау. «Он хотел невозможного», — говорит Гаман, очевидно имея в виду то исполненное борьбы существование, которое избрал, например, молодой бунтарь Шиллер или французские просветители.

«Невозможного» хочет и герой лучшей новеллы Бобровского «Белендорф», которого по духу мы вправе назвать немецким якобинцем. Бобровский использует здесь подлинные стихотворения и отдельные штрихи из жизни Казимира Антона Ульриха Белендорфа (1775—1825) — немецкого бунтаря и вольнодумца XVIII века, давно забытого официальной наукой за ненадобностью. Его сочинения — стихи и драмы — не собраны или утрачены; кроме двух упомянутых в рассказе трагедий («Фернандо» и «Уголино»), известна еще и третья —

«Спартанцы в Египте», правда, только по отзыву Шиллера. Рассказ построен как мастерская музыкальная вариация: повторение одних и тех же мотивов (например, «моря» как символа возмездия) подчеркивает не только безнадежность положения Белендорфа, но и силу, неистребимость владеющего им порыва к свободе. Этим рассказом Бобровский поставил памятник не только самому Белендорфу, этому погибшему в безвестности немецкому Радищеву, но и его друзьям, имена которых не случайно повторяются в рассказе: гордому и несчастному Штейдлину, защищавшему идеи Французской революции в своей «Хронике» и покончившему с собой после ее запрета, пламенному Гельдерлину и его сверстникам, поэтам Нейферу и Магенау, мечтавшим вместе с ним о братстве народов и возрождении афинской демократии. Эти люди близки нашему времени; память о них дорога новой Германии.

●

Во всех рассказах видна исключительная одаренность Бобровского, который обладал творческими данными сразу в трех различных областях искусства: в поэзии, живописи и музыке. Он был наделен необычайным чувством природы, которое позволяло ему улавливать тончайшие состояния воздуха, свет, переходы цвета: вспомним, как передан туман и солнечный свет в «Букстехуде». «Пленеры» Бобровского неповторимы и по своей подлинности могут быть сопоставлены с прославленными картинами импрессионистов. Бобровский считал, что прогрессивный писатель нашего времени не имеет права копировать уже готовые, даже лучшие образцы. Он возражал против сужения понятия «реализм», против канонизации художественных приемов реалистов XIX века (как и против абстрактного искусства). В поисках наиболее точной и сжатой

формы, до конца выражающей идейный смысл, он прислушивался к устному рассказу, к анекдоту, фольклору не случайно из советских мастеров прозы он выделял Шолохова и Бабеля. Но наряду с анекдотом мы находим у него и углубленный лирический этюд («Заброшен в чужую столицу»), и сатиру в форме притчи или сказки («Пьеса»), и особенно мастерскую новеллу «открытой формы», как он говорил, где обнаруживается известное родство с композицией музыкального произведения: сюжет едва намечен, зато чрезвычайно большое значение приобретают вариации отдельных тем, их повторы, схождения и расхождения, сквозные мотивы внутренний монолог героя.

Естественно, что Бобровский должен был часто писать о художниках, поэтах и об искусстве. Мы находим у него стихотворения о Бахе, Моцарте, Букстехуде («Нения»), о Гамане, Гельдерлине, Ленце и многих других. В «Литовских клавирах» и в новелле о Букстехуде нам предоставлена редчайшая возможность увидеть само зарождение произведения искусства, ту минуту, когда оно еще смутно начинает брезжить перед художником; и мы «сквозь магический кристалл» видим это зарождающееся произведение, подчас даже угадывая его будущий контур. В новелле о Букстехуде перед нами стареющий музыкант, который чувствует олово органной трубы «всею кожей». Море, туманы, очертания лютеранской церкви, воспоминания о Дании, покинутой им, чередуясь в его мыслях, как бы участвуют на свой лад в невидимом подготовлении его новой кантаты. В рассказе в разной оркестровке повторяются две библейские темы: «Гряди с Ливана, невесто» (из «Песни Песней») и «Господь, не пущу тебе» (из «Книги Бытия»), предание о борьбе Иакова с ангелом. Миф о ночном поединке Иакова с ангелом, об их единоборстве глубоко героичен. Библия здесь (подобно эллинским мифам о Геракле или титане Прометее) наделяет человека чертами сверхчеловеческой мо-

щи. И человек, дерзнувший сражаться с богом, по словам поэта Рильке, «выходит из такого боя в сознаньи и в расцвете сил...». Об этом и пишет свою кантату стареющий Букстехуде.

В романе «Литовские клавиры» мы наблюдаем рождение оперы о национальном литовском поэте Донелайтисе. Наряду с историей оперы перед нами в коротких, быстрых эпизодах раскрываются целые пласты народной жизни, поверий, преданий, социальных драм. И здесь вновь решительно подчеркивается несовместимость искусства и фашизма. Но окончательный смысл все эти линии романа получают лишь благодаря фигурам собирателя народных песен Пошки и его невесты Туты Гендролис, которые — в отдельных сценах — как бы олицетворяют собой самого Донелайтиса и его жену Анну Регину.

Этот дерзкий, новаторский замысел особенно оригинально воплощается в последних главах романа, где Пошка со своего «тригонометрического пункта» может — по воле писателя — как бы заглянуть прямо в XVIII век и увидеть Донелайтиса и его героев на крестьянской свадьбе. В романе поэтически реализуется идея, что народ и искусство вечны, и они нерасторжимы между собой. Это очевидно и в творческих исканиях Гавена и Фойгта, и в стоящей на грани яви и сна символической сцене крестьянской свадьбы.

Искусство вечно, и народ вечен. Такое завещание оставил нам в своей последней книге, завершенной буквально накануне кончины, большой писатель новой Германии Иоганнес Бобровский. Примем с благодарностью это завещание большого художника.

Г. Ратгауз

СОДЕРЖАНИЕ

Бобровский Иоганнес

Белендорф и литовские клавиры. Пер. с нем. Г. Ратгауза и Э. Львовой. М., «Молодая гвардия». 1969. 256 с. И (Нем).

Редактор *Л. Васильева*
Художественный редактор
А. Романова
Технический редактор
Г. Петровская

Сдано в набор 1/VII 1969 г. Подписано к печати 6/X 1969 г. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага № 2. Печ. л. 8 (усл. 11,2). Уч.-изд. л. 10. Тираж 65 000. Зак. 1173. Цена 50 коп. Т. П. 1969 г., № 422. Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

ВЫХОДИТ В СВЕТ

Димфна Кьюсак, Солнце — это еще не все, роман, перевод с английского.

Новый роман прогрессивной австралийской писательницы Димфны Кьюсак «Солнце — это еще не все» затрагивает острые политические проблемы современной Австралии: появление в общественной жизни страны профашистских тенденций, судьбы эмигрантов, бежавших от фашизма, и военных преступников, укрывшихся от заслуженной кары. События происходят в семействе Белфордов, живущих тихой, уединенной жизнью в предместье Сиднея. Спокойное течение их жизни нарушается приездом нового соседа Карла фон Рендта. Карл скрывается в Австралии под вымышленным именем, продолжая нацистскую деятельность в обществе землячества. Сестра адвоката Белфорда Элис влюбляется в Карла и готова сочетаться с ним законным браком. Но Карла выслеживают партизаны — свидетели и жертвы его преступлений, арестовывают его и отдают в руки правосудия. Узнав, что ее возлюбленный — бывший военный преступник, Элис кончает с собой.

В романе показана и современная австралийская молодежь, выступающая против реакции, войны во Вьетнаме, мечтающая о подлинном демократическом устройстве жизни.

ПОДПИСАНО К ПЕЧАТИ

Элио Витторини, Люди и нелюди, роман, перевод с итальянского.

«Нужно, чтобы все люди были счастливы, а иначе какой смысл имеет наша борьба?» — говорит в начале романа старая подпольщица Сельва. И во имя этого будущего счастья вступают в смертельную борьбу рабочие, студенты, профессиональные революционеры. Полуразрушенный Милан, терроризуемый эсэсовцами и итальянскими фашистами, — поле их борьбы. Их враги — нелюди, которые казнят по десять заложников за каждого убитого оккупанта. Однако смертельный риск не останавливает патриотов. Они знают, с кем и во имя чего борются, отказываясь от личного счастья, жертвуя жизнью. Их героизм чужд позы и бравады, они не осознают его, они делают свое дело — освобождают свою страну от ига «нелюдей».

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ

Пол Вад, Много ли человеку надо?
роман, перевод с датского.

Роман известного датского поэта и прозаика Пола Вада рассказывает о жизни нескольких членов маленького приятельского кружка, в центре которого двое — вполне вроде бы благополучный инженер Хенрик и совсем молоденькая неприкаянная неудачница Сусанна. Все они пытаются решить для себя один и тот же вопрос: много ли человеку надо? Вопрос этот поставлен автором полемично и остро, и ответ на него сводится к тому, что человеку надо много такого, что неосуществимо в условиях «мертвенных, серых будней» современного буржуазного существования. И символ этой неосуществимости — полные глубокого драматизма отношения Хенрика и Сусанны.

Интересная современная форма повествования в сочетании с глубоким и острым содержанием делают роман Вада ярким образцом скандинавской литературы последних лет.

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ

Клаус Манн, Мефисто, роман, перевод с немецкого.

Клаус Манн (1906—1949) — старший сын крупнейшего немецкого писателя XX века Томаса Манна. Писатель и публицист, он был одним из видных лидеров немецкой антифашистской эмиграции.

Роман «Мефисто», написанный в 1936 году, — антифашистский памфлет, выполненный в яркой сатирической, порой гротескной манере. В центре романа — образ актера Хефгена, заключившего союз с «дьяволом», то есть с фашизмом. История морального падения и душевного опустошения Хефгена, история крушения таланта — как следствие этого союза — и составляет содержание книги.

Роман рисует довольно широкую картину немецкой жизни в первые годы гитлеровского режима. В нем наряду с образами подлинных представителей немецкой интеллигенции даны убедительные сатирические портреты главных «комедиантов» гитлеровской Германии — ее фашистских главарей. На столкновении этих двух начаг и построен сюжет увлекательной и в то же время страстной в своем обличении зла книги.